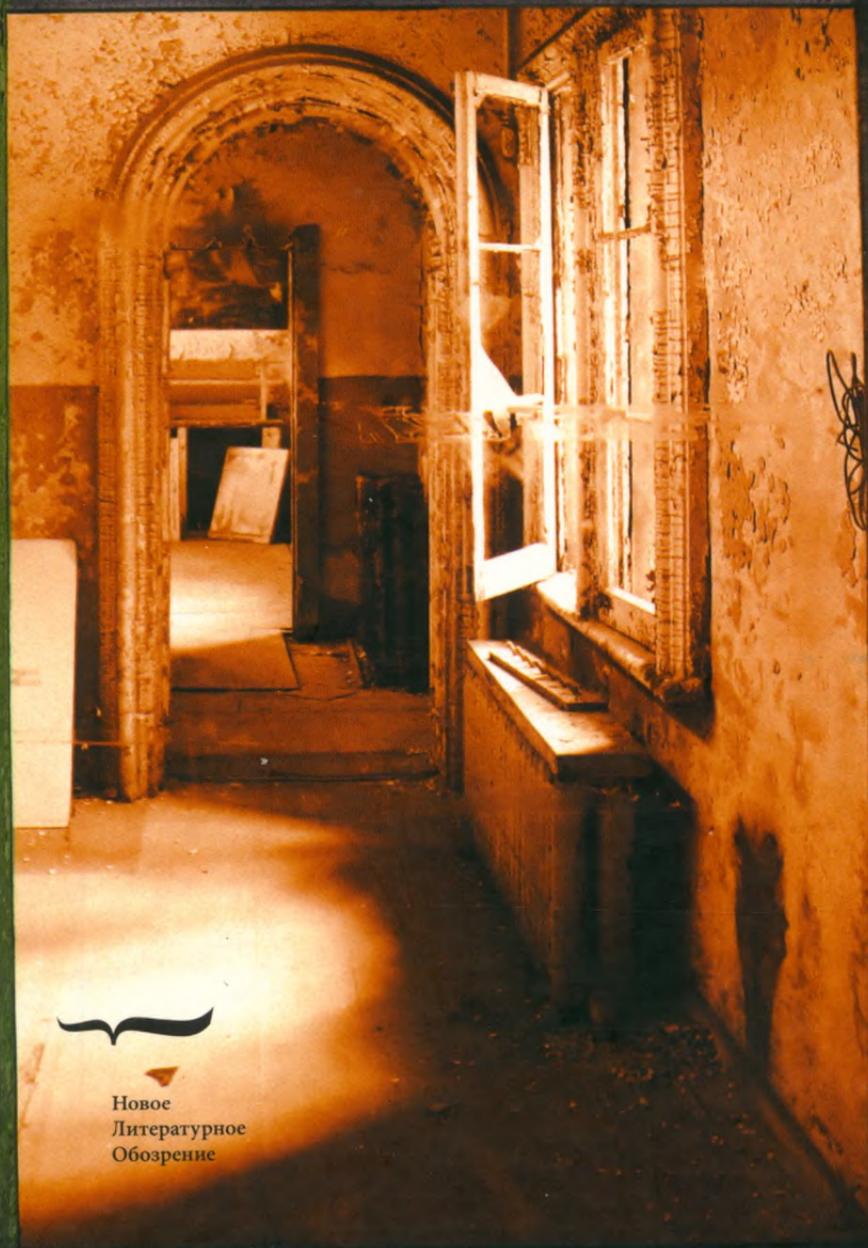


Эйтан  
Финкельштейн  
ЛАБИРИНТ



Новое  
Литературное  
Обозрение

# *Лабиринт*



Новое  
Литературное  
Обозрение



Эйтан Финкельштейн



# Лабиринт

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА 2008

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
Ф 59

**Финкельштейн Э.**

**Ф 59 Лабиринт: Роман.** — М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 240 с.

На страницах новой книги Эйтана Финкельштейна, автора романа «Пастухи фараона» (НЛО, 2006), живут люди, которые верили каждый в свою правду и готовы были жертвовать ради нее всем. Пламенный комсомолец-подпольщик спасает мальчиков из «буржуазных семей», заводские работяги в невероятных условиях куют оружие победы, ученые, скованные партийными цепями, делают важные открытия. Здесь спорят о будущем России, КГБ преследует диссидентов, священники ратуют за свободу веры, националисты — за независимость, сионисты — за возвращение на историческую родину, конформисты пытаются удержаться на плаву... Все это драматически преломляется в трудной судьбе главного героя, хлебнувшего лиха и в блокадном Ленинграде, и в лагере за инакомыслие, и в эмиграции...

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Э. Финкельштейн. 2008

© Художественное оформление.

«Новое литературное обозрение», 2008

ISBN 978-5-86793-593-1

## *Глава первая*

Папа сказал: «Сегодня я наконец-то раскусил этого Левитаса. Всегда подозревал в нем негодяя, но уж очень ловко он маскировался. А тут выдал себя с головой. Аферист! Теперь верю всему, что о нем говорят. И место консула купил, и с Советами подозрительные дела ведет. Всему верю!»

Мама сказала: «Ты что, проиграл ему? Сколько просадил?»

Папа сказал: «Нисколько, даже выиграл немного. Но этот пройдоха старался проиграть не мне, а Кайрису. Из кожи вон лез. А нашему пинкертону карта не идет и не идет. Левитас краснел, бледнел, ёрзал на стуле, однако ж, Кайрис все равно проиграл — не получил на этот раз взятки».

Мама сказала: «Я понимаю, почему Левитасу все завидуют. Но ты-то за что на него ополчился? Ну, разбогател человек — на здоровье! А что консулом стал за деньги — ерунда, не верю. Зачем ему тысячи тратить на взятки чиновникам, а потом еще консульство на свой счет содержать? Он и без того может жить в Париже, как король».

Папа сказал: «Он для того тысячи выбрасывает, чтобы потом миллионы делать».

Мама сказала: «Ну конечно, уж ты-то лучше всех знаешь, как делаются деньги! Ты хоть один лит в своей жизни сделал?»

Папа сказал: «Я честно зарабатываю, и ты с детьми как будто не голодаешь».

Мама ничего не сказала.

Они всегда так: говорят, словно бранятся. Так я их и запомнил — вечно в перепалке.

Впрочем, разговор не о том.

В январе мне исполнилось тринадцать. Я вытянулся, повзрослел, болеть стал все реже, а баскетбольную площадку посещать все чаще.

Папа сказал: «Хватит парню проводить лето с бабушкой на даче, пора ему общаться со сверстниками! Запишука я его в лагерь Бейтара<sup>1</sup>, там он узнает, что такое порядок и дисциплина!»

Мама сказала: «Чтобы мой сын ходил в черной рубашке и маршировал с портретом Жаботинского<sup>2</sup>? Уж лучше его устроить в лагерь Гапоэль<sup>3</sup>, там, по крайней мере, приучают детей к труду».

Папа сказал: «Чтобы моему сыну вдальбливали в голову всякую социалистическую чушь? Только через мой труп!»

Мама ничего не сказала.

Неожиданно в газетах появилась статья министра просвещения, который писал, что «наша молодежь — те, кому предстоит с оружием в руках защищать родину, разобщена, воспитывается в духе различных партийных

<sup>1</sup> Бейтар — молодежная сионистская организация, ориентированная на праворадикальное течение в сионизме.

<sup>2</sup> Владимир Жаботинский — идеолог и основатель праворадикального (ревизионистского) течения в сионизме.

<sup>3</sup> Гапоэль — еврейское спортивное общество, ориентированное на лево-социалистическое движение в сионизме.

идеологий, и, если дело и дальше пойдет таким образом, идеи единства и целостности Литвы станут ей чужды». Что же касается Президента, то, заключал министр, он этим обстоятельством недоволен и требует принять меры.

Меры приняли, в Паланге, в особняке, когда-то принадлежавшем польскому вельможе, организовали летний лагерь «Науёйи Летува» — Новая Литва. В лагерь принимали всех: евреев, поляков, русских и, само собой, литовцев. Более того, крупным чиновникам дали понять: Президент хочет, чтобы они отправляли своих детей именно в этот лагерь.

Я попал в один отряд с Лазиком Левитасом, сыном того самого консула во Франции, которого папа не любил и называл пройдохой. Бледный, рыхлый, с бесцветными глазами-пуговками, Лазик показался мне флегматичным и неповоротливым. На самом деле он был энергичным и деловым. Он постоянно куда-то исчезал, что-то узнавал, а разузнав, тут же прибежал в отряд и с видом заговорщика, проникшего в тайны мадридского двора, шептался то с одним мальчиком, то с другим, то с третьим. В первый же день Лазик обошел все этажи, познакомился со всеми начальниками отрядов, разведал, кто из них строгий, а кто — тряпка, подслушал, когда будет обход интенданта. И, конечно же, познакомился с нашей кухаркой, тетей Басей, и выведал у нее, что на обед будет жареная печенка с гречневой кашей!

На второй день Лазик уже верховодил в отряде. Правда, старшим назначили не его, а Жорика Чесну. Жорик, первый по росту, был смуглый, прогонистый, говорил медленно, держался с достоинством и оттого походил на офицера. Во всяком случае, когда на линейке он докладывал интенданту, мне казалось, что все мы — участники парада у президентского дворца, причем Жорик — командующий, а интендант — Президент, который вот-вот начнет обходить строй и выговаривать солдатам за то, что шинели у них разной длины. Так оно и было: интендант обхо-

дил строй, проверял, достаточно ли чисты наши воротнички и правильно ли повязаны галстуки. Он непременно делал кому-то замечания, но Жориком всегда оставался доволен.

Между тем Лазик вовсе не огорчился, что не его, а Чесну назначили старшим. По всей видимости, он считал Жорика равным — в конце концов отец Чесны был третьим богачом после Шварцаса и Левитаса. Но главное, мне показалось, что роль серого кардинала устраивала Лазика больше, чем должность старшего по отряду. Старший должен был отвечать за всё и за всех, Лазика интересовали только избранные.

Само собой, в его круг сразу попали Йозас Чапас и Викторас Августинас. Йозас был племянником министра финансов, воспитывался в доме дяди, ездил с ним в Лондон и даже в Америку. Как и положено члену семьи министра, он был немногословен, но если говорил, то каждый раз начинал со слов: «Наша маленькая Литва не может позволить...» Йозас всегда носил под мышкой какой-нибудь английский роман и, когда ему не надо было защищать интересы Литвы, тут же открывал книгу: чтение было его любимым занятием.

Августинас — полная противоположность Чапасу. Его отец держал немецкую аптеку, часто ездил в Штутгарт и брал сына с собой. Писанный красавец, Викторас постоянно улыбался, говорил много, обо всем, но более всего любил рассказывать разные истории о пышногрудых немецких девицах. Увлечшись, он переходил на немецкий, но потом спохватывался и с видимым неудовольствием возвращался к литовскому.

Павлик Рабиновичус чувствовал себя в интернациональном отряде неловко. Раньше он проводил летние каникулы в лагере Бейтара, свободно научился говорить по-древнееврейски, но из других языков сносно говорил только по-польски. О его отце рассказывали, будто в молодости он был очень набожным, учился в ешиве где-то

под Варшавой, но потом удачно женился, унаследовал состояние тестя, сбрил бороду, снял ермолку и стал заниматься гешефтами. Разбогатев, Рабиновичюс-старший сошелся с сионистами, купил плантацию в Палестине, но потом в сионизме разочаровался и сделался большим литовским патриотом.

Павлика не интересовала ни Палестина, ни Литва, ни отцовские гешефты. Он увлекался техникой, мечтал стать инженером и все время приставал к Августинасу с расспросами о Штутгарте. Но не потому, что там «на каждом углу расхаживают белокурые брунгильды», а потому, что в Штутгарте находился завод «Мерседес». Павлик знал все автомобили наперечет, умел водить и «бьюик», и «оппель», и «форд», но все время повторял: «Автомобиль — это «мерседес», а все остальные...»

Я отлично понимал, зачем Лазику нужен Жорик, с которым он говорил на изысканном литовском. Я понимал, зачем ему нужен Йозас, с которым он говорил по-английски, и зачем ему нужен Виктор, с которым он говорил по-немецки. Но зачем ему нужен был Саввик?

Родом Саввик был из какого-то местечка, но в последние годы жил с родителями в Паланге. Отец его служил сторожем, и поговаривали, будто Саввика приняли в лагерь бесплатно как сына бедняка. Ведь по уставу лагеря «все литовские дети — равны, среди них не должно быть богатых и бедных!» Учился Саввик плохо, ни на одном языке прилично изъясняться не мог, зато всегда готов был услужить. Мгновенно сообразив, кто в отряде главный, он начал крутиться вокруг Лазика, с готовностью выполнял его поручения и, как мы догадывались, докладывал ему, что видел и что слышал. Лазик вознаграждал верного слугу тем, что иногда приглашал в компанию избранных. Впрочем, избранные смотрели на Саввика свысока, а Виктор его откровенно презирал, за глаза называл «лакеем».

Оно и верно, маленький, неуклюжий, Саввик смотрел на собеседника снизу вверх, как бы спрашивая: «Чего изволите?» Но смотрел он так не на всех, а только на избранных. Когда же говорил с неизбранными, спина его разгибалась, тонкие губы вытягивались в кривую усмешку, через круглые очки поблескивали злые огоньки.

На меня Саввик смотрел по-разному, но всегда с недоумением. Я понимал почему — определиться со мной не мог и сам Лазик.

На первый взгляд, мы с Лазиком были равны. Наши отцы состояли в английском клубе, где частенько сиживали за одним карточным столом. Кроме того, они встречались на приемах в посольствах и у высших лиц государства. Главное же — оба были вхожи к Президенту. Отец Лазика в качестве крупного финансиста и дипломата, мой — на правах соученика и бывшего коллеги: папа учился с Президентом в Петербургском университете и не прерывал с ним знакомства, даже когда тот подвергался гонениям как литовский сепаратист.

На этом сходство кончалось, начинались различия. Во-первых, мой отец не был богат. Своего дома у нас не было, и даже большая и удобная квартира, в которой мы жили, была съемной. Верно, у бабушки был свой дом на Горке, верно, о моей маме судачили, будто она из семейства барона Гинцбурга и ее братья переправили капитал в Париж еще до революции. Но дом на Горке был маленьким и ветхим, мама же Гинцбургам приходилась десятой водой на киселе, никаких братьев в Париже у нее не было, а капитала — тем более.

Впрочем, главное различие между нами состояло в другом. Отец Лазика ходил в патриотах, жертвовал деньги на президентскую партию, а за рубежом уверял всех и каждого, что Президент — истинный отец нации, который заботится обо всех гражданах Литвы, в том числе и о нас, евреях.

Репутация моего отца была скверной. Многие считали его сумасбродом, способным на экстравагантные и даже опасные выходки. И верно, папа прилюдно обращался к Президенту на русский манер по имени-отчеству, говорил ему дерзости — сам он называл это «правда в глаза», — а главное, защищал в судах разных отщепенцев, в том числе и коммунистов. Последнее обстоятельство рассматривалось как вызов, после которого перед моими родителями закрывались двери многих домов. И только когда отец вновь появлялся в президентском дворце, родителей начинали принимать в обществе.

Короче, Лазик долго не мог сообразить, как ему быть со мной. Он то изображал из себя вольнодумца, читая мне по-русски Балтрушайтиса, то демонстративно меня не замечал, а то и вовсе пускался в рассуждения о «троянском коне в литовском обществе», которые надо было понимать как выпад в адрес моего отца. В конце концов Лазик усвоил манеру на людях от меня дистанцироваться, но наедине вел себя как обыкновенный мальчик из еврейской семьи.

Наедине же мы с ним оказывались, когда ходили навещать наших сестер в пансионат для девочек, что расположился в здании женской школы довольно далеко от моря. По дороге Лазик рассказывал смешные истории или еврейские анекдоты, а однажды, когда наша баскетбольная команда — я был капитаном — с разгромным счетом проиграла третьему отряду, Лазик неожиданно сказал: «Не огорчайся, старик, в конце концов баскетбол — гойская игра». Я, конечно, огорчился, но... разговор не о том.

Жанна, сестра Лазика, была на год младше брата и ничем на него не походила. Высокая, с тонкой талией и огромной копной вьющихся рыжих волос, она так приветливо мне улыбнулась, так элегантно протянула руку, что я чуть было ее не поцеловал. Целовать руку девочкам считалось неприличным, я сдержался, но тут же в нее влюбился.

Мне везло — не успевали мы появиться в лагере, как Лазик куда-то исчезал, оставляя меня наедине с сестрой.

В первый момент я терялся, краснел и, смущаясь, предлагал почитать стихи, но Жанна вела себя непринужденно, была приветлива, улыбочива и делала вид, что не замечает моей неловкости.

— Стихи? Конечно, стихи! Сейчас я возьму дневник, вы будете читать и записывать. У меня не получается по-русски.

Я читал ей Бальмонта или Фруга, потом каллиграфическим почерком записывал в дневник, не забывая сопроводить посвящением, вроде: «Очаровательной Жанне Левитайте в память о розовом закате июня 1939 года». «Браво!» — Жанна хлопала в ладоши, мы шли пить кофе и говорили, говорили, говорили. Я рассказывал ей разные истории из жизни известных писателей и поэтов, которые где-то вычитал или слышал от родителей, Жанна — о своих подругах по парижскому лицу, который посещала уже третью зиму.

Посреди разговора Жанна вдруг спохватывалась:

— Послушайте, не пора ли нам разыскать Илону? Станет неприлично — вы уже здесь почти час...

Разыскать мою сестру труда не составляло. Зеленоглазая блондинка, общительная и веселая, она всегда была в центре внимания, в окружении подруг и поклонников всех возрастов и национальностей. Тот факт, что у нее уже был постоянный ухажер, ничего не менял. Короче, искать Илону нужно было там, где собиралось много людей, где раздавался заразительный смех, где все говорили громко и наперебой.

Само собой, Илоне было не до меня. После обязательного поцелуя в щечку и дежурного вопроса: «Ты родителям написал?» я был свободен и отправлялся с Жанной в овальную беседку в саду, чтобы продолжить наши разговоры.

За пять минут до шести — в шесть мы обязаны были покинуть лагерь — являлся запыхавшийся Лазик, вытирал вспотевший лоб большим шелковым платком, чмокал Жанну в губы, и мы бежали к выходу.

На обратном пути Лазик без умолку рассказывал, с кем познакомился, что разведал, в какие тайны проник. При этом имен новых знакомых он не называл: «дочь директора гимназии», «племянница начальника пожарной охраны», «сестра такого-то...» Да и речь у него чаще всего шла о подробностях чьей-то семейной жизни или о слухах из области политики или коммерции. Последние Лазик обожал, пересказывал с упоением и тут же начинал фантазировать: «Пошли разговоры, что Крошасу госкредит дали, а Рафайловичюсу — отказали. Теперь соображай, Крошас поставляет обувь для армии, а Рафайловичюс отправляет в Польшу бекон. Давай спорить, скоро с Польшей будет война!»

В один из очередных визитов к сестрам Жанны в пансионате не оказалось — к ней приехала подруга, и девушек отпустили в город. Лазик ничуть не огорчился и тут же исчез. Мне же не оставалось ничего иного, как перечитать извинительную записку и отправиться на поиски сестры. Ориентируясь на шум и громкий смех, я ходил по коридорам, переходил с этажа на этаж — сестры нигде не было. В конце концов я нашел ее в фойе возле библиотеки. Держа в руках раскрытую книгу, она беседовала с какой-то девушкой, которую раньше в окружении сестры я не встречал.

Завидя меня, Илона улыбнулась, подставила щеку для поцелуя, но, вместо того чтобы задать все тот же вопрос, написал ли я родителям, представила меня собеседнице:

— Познакомься, Альма. Это мой брат. Он наизусть знает Бальмонта и Надсона и сам пишет стихи по-русски.

— Надсона? Странно, — Альма протянула мне руку. — Я думала, что Надсоном увлекаются только влюбленные девушки. Возможно, я плохо знаю этого поэта, но с удовольствием послушаю. Почитаете?

Альма на какое-то мгновение задержала мою руку в своей и слегка ее пожала.

Новая знакомая сестры выглядела как девушка из богатой литовской семьи, которой положено дорого и безвкусно одеваться, носить модную прическу, модные бусы и, главное, держать себя, словно снежная королева. И верно, ослепительно белая шелковая блузка, клетчатая английская юбка, изящные лакированные туфельки. Но! Блузка и юбка сидели на Альме безупречно, прическа удивительно шла к ее лицу, ни бус, ни бантика, ни замысловатой гребенки — ничего, чем обычно украшали свои наряды девушки-модницы, на ней не было. Самое же удивительное: в ее позе не было и тени жеманства, в жестах — кокетства, во взгляде — высокомерия.

Альма не показалась мне красивой, она совсем не походила на Жанну или Илону, красота которых бросалась в глаза.

— Что вам прочесть?

— На ваше усмотрение, — Альма развела руками.

Я решил, что лучше всего начать с надсоновских «Грёз».

Читал я медленно, выразительно и время от времени поглядывал на девушек — понятно ли? Когда я закончил, Илона захлопала в ладоши. Альма же опустила глаза и задумчиво спросила:

— «Борцы поруганной свободы»? Вы думаете, это хорошо?

Горячо, на примере русской революции, принялся объяснять девушкам, что такое поруганная свобода. Альма смотрела на меня с любопытством и, как мне показалось, с некоторой иронией:

— Что такое поруганная свобода, понятно и без разъяснений, но какие у нее могут быть «борцы»?

Я начал было объяснить, что это всего лишь поэтический образ, но Альма меня прервала:

— Почитайте что-нибудь еще.

Я прочел «Милый друг, я знаю...», мы заговорили о Надсоне, о свободе, о поэзии.

Наконец Илона поднялась и подставила щечку для прощального поцелуя.

Крепко, словно старый товарищ, Альма пожала мне руку:

— Спасибо, вы прекрасно читаете. И вообще, с вами интересно.

Я попрощался с девушками и направился в беседку поджидать Лазика. По дороге домой рассказал ему о новом знакомстве.

— Какая Альма? — удивился Лазик. — Она давно в пансионате?

— Она не живет в пансионате. Она отдыхает с отцом и тетушкой в особняке где-то рядом. В пансионат ходит в библиотеку.

— В каком особняке? Уж не в двухэтажном ли с башенкой?

— Возможно.

— Ты шутишь, это же дочь... — Лазик назвал фамилию нашего министра иностранных дел.

Несколько дней я находился под впечатлением нового знакомства, пытался восстановить в памяти детали нашей беседы, особенно те моменты, когда Альма пожимала мне руку, улыбалась или опускала глаза. Получалось плохо, облик новой знакомой на мгновение вспыхивал перед глазами, но тут же куда-то исчезал, оставляя лишь очертания губ, прически и элегантной позы этой явно необычной девушки.

Неожиданно от Альмы пришло письмо. Аккуратно вскрыл конверт и сразу же поразился ее почерку. Мелкий-мелкий, он тем не менее был удивительно красив и разборчив. Никогда в жизни я больше не встречал такого почерка! Альма писала, что рада знакомству со мной, благодарила за приятно проведенное время, предлагала встретиться «в той же компании», чтобы почитать Мицкевича, которого «я ставлю выше других».

Разумеется, я тут же ответил согласием и в ожидании предстоящей встречи решил «отточить перо» — приставал ко всем в отряде с разговорами о Мицкевиче. Разговоры эти мало что дали. Чапас выразил «официальную» точку зрения, что, мол, Мицкявичюс принадлежит Литве, но был украден у нее поляками. Августинас заявил, что Мицкевич — типичный польский сноб и германофоб, а Лазик не без злорадства добавил, что «и русских Мицкявичюс тоже ненавидел».

Встреча не состоялась — Альма вынуждена была срочно уехать из Паланги, чтобы сопровождать отца в заграничной поездке. Тем не менее разговор о Мицкевиче продолжился в письмах, которые стали приходить от нее регулярно. Я — само собой — писал ей часто, подробно и с удовольствием. Вскоре я стал замечать, что, запечатывая очередной конверт, все чаще вынужден убеждать себя: нет, нет, я вовсе в нее не влюблен, мы — друзья. Только друзья. А как же иначе, у меня ведь уже есть возлюбленная. А изменять? Нет, нет, это не в моих правилах!

Август приближался к концу, до отъезда оставались считанные дни. Ссоры и перепалки в отряде прекратились, мы вдруг почувствовали, что провели вместе какой-то важный и интересный отрезок жизни. Мы подписывали друг другу фотографии, обменивались адресами и обещали непременно встретиться. На рождественские же каникулы договаривались собраться в полном составе.

Вернувшись домой, я первым делом обошел квартиру, с трепетом первооткрывателя осмотрел все углы, погладил письменный стол в своей комнате, полистал любимые книги. Потом вышел на улицу и принялся разглядывать давно знакомые переулки, словно впервые их видел.

Не успел я заново обжиться в собственном доме, как сбылось предсказание Лазика: началась война с Польшей. Правда, сами мы не воевали, но вернули себе Вильнюс. Точнее, его нам вернули русские.

Папа сказал: «Это троянский конь. Вот увидишь, из него выскочат красноармейцы».

Мама сказала: «Ты хочешь, чтобы из него выскочили фашисты?»

Папа ничего не сказал.

Все радовались и поздравляли друг друга с возвращением древней столицы. В газетах печатали фотографии трех наших танков, которые въезжали на центральный проспект города, всюду писали, как подняли наш флаг на башне Гедиминаса, как въехал в новую столицу Президент. За Президентом в Вильнюс потянулись министры и чиновники. Началась переездная лихорадка — все только и спрашивали друг друга: «Вы едете? Когда?»

Папа сказал: «Ни за что не поеду, не желаю быть мародером».

Мама сказала: «Причем тут мародерство! Поляки уезжают из Вильнюса по своей воле. Могут оставаться и ничего не продавать. Но, если ты не купишь дом доктора Леса, его так или иначе кто-то купит за гроши. И вообще, это же твоя мечта — контора в собственном доме!»

Папа сказал: «Как мы сможем жить в доме, который достался нам потому, что коллега вынужден бежать? Как я буду сидеть за его столом, пользоваться его библиотекой?»

Мама сказала: «Хорошо, оставайся. Только через год отсюда все уедут. Что ты будешь делать? С кем мы будем встречаться? С кем будут общаться дети?»

Папа сказал: «Может быть, все и не уедут. Увидим!»

Мама ничего не сказала.

Я принялся обзванивать приятелей, будучи уверен, что все они пакуют чемоданы. И верно, Чапаса уже не было в городе, но, к моему удивлению, Виктор вовсе не собирался уезжать:

— Куда спешить? Еще не ясно, как к этой истории отнесется Берлин. И вообще, очень уж там близко к русским.

Еще больше удивил меня Лазик:

— Уезжать? Зачем? Чтоб купить дом по дешевке? Мы в этом не заинтересованы.

— Но твой отец на дипломатической службе, ему, наверное, положено жить в столице?

— Подумаешь, на службе! Сегодня на одной службе, завтра — на другой. И вообще, кто знает, что будет завтра, — добавил Лазик тоном человека, которому наверняка известно, что будет и завтра, и послезавтра.

Ясно, Лазик — неисправимый фантазер.

Письма из Парижа приходили в красивых конвертах и пахли чудесными духами. Жанна подробно рассказывала о том, как проводит время, что читает, что играет на музыкальных занятиях, жаловалась, что редко видит родителей. Подробно описывала она и романы, которые заводили ее подруги. Романы эти были то грустные, то смешные, заканчивались то помолвкой, то размолвкой. Я же недоумевал: в Литве происходят такие важные события, а дочь нашего консула в Париже интересуется, чем кончится роман ее подруги Люсиль с каким-то художником! Я возмущался, отбрасывал очередное письмо, но потом остывал и нехотя брался за ответ.

Зато писем от Альмы ждал с нетерпением, вскрывал — с трепетом, ответ обдумывал загодя. Между тем и Альма политики не касалась. Она писала о новых городах, об интересных встречах, а на мои вопросы чаще всего отвечала цитатами. «Вы рады, что столицу мы получили из рук Москвы, а не Берлина? Помните, что писал по этому поводу Мицкевич? “Германцы закуют в кандалы наши руки, а русские — наши души”. Остерегайтесь, вы слишком доверчивы!»

Впервые после Паланги я встретил Альму в кафе у Капильского, куда меня по какому-то поводу взяла мама.

Мы сидели с ней за столиком в углу, о чем-то разговаривали, когда две элегантные дамы — пожилая и молодая — отошли от буфетной стойки и направились к выходу. Неожиданно молодая дама посмотрела в мою сторону и приветливо мне улыбнулась. Вначале я не понял, что улыбка предназначалась именно мне, но вдруг меня осенило — это же Альма! Только она была выше, старше и красивее той девушки, которую я рисовал в своем воображении.

Продолжая улыбаться, Альма показала рукой, что будет звонить. Она действительно позвонила, но меня, увы, не оказалось дома. Альма долго говорила с Илоной, просила передать, что письма мои читает с удовольствием, обещала приехать на рождественские каникулы. Я ужасно расстроился, долго не мог найти себе места, и даже чтение не доставляло мне удовольствия.

Папа решил переезжать. Он стал часто ездить в Вильнюс, вел там бесконечные переговоры, пока, наконец, не снял квартиру на улице Басанавичюс, в которую мы должны были въехать к Рождеству. Я уговаривал родителей оставить меня на каникулы в Каунасе, уверял, что толку от меня в устройстве новой квартиры все равно не будет. Папа сердился, упрекал меня в эгоизме, но в конце концов согласился.

В середине декабря папа и мама уехали в Вильнюс, а вместе с Илоной — ей предстояло закончить в Каунасе гимназию — переехал к бабушке на Горку. Третьего января нового, сорокового года, я обязался приехать в Вильнюс.

Как только все это выяснилось, я позвонил Лазик — предложил обговорить подготовку к предстоящему сборищу. Мы встретились в кафе на Аллее Свободы. Лазик был мрачен, ругал всех подряд, уверял, что «любимый гешефт наших патриотов — продавать Литву оптом и в розницу», что «все заняты только собой и не хотят думать о будущем страны» и что «видеть он никого не хочет». Однако после третьей порции мороженого Лазик

сменил гнев на милость, согласился с тем, что встретиться все-таки нужно.

— Только не у меня. У меня это совершенно невозможно.

Расстались мы на том, что будем созваниваться с Августинасом.

Предложение провести встречу в его доме Виктор встретил благосклонно, обещал переговорить с родителями, а через некоторое время позвонил и сказал: «Аллес гут, мои — не возражают!»

Боже, что это были за рождественские каникулы 1939 года! Если я когда-то и вспоминал что-то светлое и радостное из своей довоенной юности, перед глазами всегда возникал тот фейерверк молодости, беззаботного веселья, фантастических надежд и моря, моря любви. Чистой, наивной, безбрежной.

Проглотив с утра чашку кофе, я бежал к Павлику, который демонстрировал мне свой новый мотоцикл «Харлей» и объяснял его достоинства. Потом мы пили чай с печеньем и обсуждали, где лучше учиться на инженера — в Америке или во Франции.

От Павлика я мчался к Жорику, обсуждал с ним ход финской кампании, и мы вместе шли к Лазику. Там, конечно же, разгорался спор о мировых проблемах, посреди которого я оставлял друзей, бежал домой, на ходу съедал бутерброд и мчался на каток, где меня ждала встреча с Жанной. Я помогал Жанне надеть коньки, мы кружили по льду, то сбивали кого-то с ног, то падали сами, поднимались, смеялись, отряхивали друг друга. Между прочим, Жанна каждый раз приходила на каток в новой юбке, в новом свитере, но всегда с одной и той же бархатной муфтой, которая переливалась всеми цветами радуги. Катаясь, Жанна не выпускала муфту из рук. По этому поводу я над ней подшучивал, а она в ответ щелкала меня по кончику носа.

Вдоволь накатавшись, мы садились на скамейку, переводили дыхание и, взявшись за руки, направлялись в сторону Жанниного дома, ничуть не боясь, что нас кто-то увидит. Прощаясь, я ей театрально кланялся, целовал руку и договаривался о новой встрече.

Разумеется, я опаздывал к обеду, бабушка ворчала, грозила жаловаться родителям, но потом — тоже с опозданием — появлялась Илона, бабушка переключала свое возмущение на внуку. Я же устраивался с книжкой в прихожей. Книга была для вида; я ждал звонка Альмы.

Тетушка Альмы оказалась дамой строгой и неприветливой. Едва кивнув головой, она предложила мне пройти в гостиную, показала на стул и безмолвно исчезла. Я сидел, что называется, поджав хвост. Через некоторое время появилась Альма, а за ней шла прислуга с подносом. Мы пили кофе с пирожными, говорили о вечном и о делах текущих, спорили, соглашаясь, делали друг другу «большие глаза», «длинный нос», а потом ни с того ни с сего начали смеяться. Да так, что чуть ли не попадали со стульев! В этот момент дверь гостиной открылась, и на пороге появилась тетушка, выражая всем своим видом крайнее неодобрение. Мы прекратили смеяться и, хитро подмигивая друг другу, вернулись к чинной беседе.

Как в эти минуты я любил Альму!

Правда, когда я беседовал с Жориком о будущем Литвы, мне казалось, что больше всех на свете я люблю Жорика. Когда обсуждал достоинства «Харлея» с Павликом, я больше всех любил Павлика. Когда же кружил по льду с Жанной, я больше всех любил Жанну.

Разговор, впрочем, не о том.

Зима сорокового выдалась снежной и вьюжной. Чтобы сократить дорогу в новую гимназию, я спускался вниз по узкому крутому переулку вдоль горы Тауро. Конечно, этот путь был короче, однако я то и дело падал, лишался пуговиц, пачкал брюки или пальто и непременно получал замечания от учителей.

Вообще, привыкнуть к новым учителям я не мог. К ученикам — тем более. Все они съехались в Вильнюс из разных мест, каждый держался своего землячества. Землячества же друг другом не интересовались, дружить — не стремились. Я считал это неправильным, намеренно ни к кому не примыкал, а оттого сделался «кошкой, которая гуляет сама по себе». В письмах к Жанне жаловался на то, что попал не в класс, а в какую-то уличную толпу. Согревало меня сознание того, что еще месяц-другой и наступит весна. А потом лето, Паланга...

Весна и в самом деле наступила: улицы очистились от снега, просохли, я принялся осваивать город. Он показался мне очень большим и очень разным. Но это было не самое важное, с «самым» же я никак не мог определиться: что же здесь мое, что принадлежит мне? Мне и только мне. С трепетом бродил я по средневековым улочкам Старого города, облепленным домами, домишками, пристройками и надстройками с бесконечным числом дверей, окон, входов и проходов. И с бесконечным же числом вывесок. Одна на другой, то крупно, то мелко, то вкривь, то вкось, то на идише, то по-польски или по-русски. «Талмуд-тора», «Переплетная мастерская», «Дешевая столовая», «Ешива», «Торговый дом», «Страховое общество». Весь этот муравейник суетился, галдел и издавал какой-то особый аромат, спутать который нельзя было ни с чем.

Не успевал я, однако, проникнуться мыслью, что этот мир бородачей и лавочников, торговых и ешиботников в конечном счете принадлежит и мне, как неожиданно оказывался на Университетской улице.

С удивлением и восхищением обходил я многочисленные дворики университетского кампуса, каждый из которых имел свое название и свою историю. «Библиотечный», «Обсерваторский», «Мицкевича», «Даукантаса». Готика и ренессанс, раннее барокко и поздний классицизм. Строгие монументы, витиеватые фрески, знаки зодиака, латинские изречения. И имена, имена, имена. Стефан Баторий и Август III, Тарас Шевченко и Тадеуш Костюшко,

Михаил Огинский и Людвик Сырокомля. Эпохи и имена возникали перед глазами неожиданно и так же неожиданно сменялись другими. В конце концов все это перемешивалось и создавало какую-то особую атмосферу, в которой интим уживался с безграничными просторами, идиллия — с хаосом времен и народов.

Как же я завидовал студентам! И тем, кто куда-то спешил, и тем, кто устроился на скамейке с книгой, и тем, кто, сбившись в кучки, чинно о чем-то беседовал! Смотрел я на них и думал: может быть, это и есть мое, может быть, и я когда-нибудь стану обитателем этих дворишков?

Изрядно устав, я возвращался по Доминиканской улице, стараясь не смотреть в сторону того самого костела, по имени которого эта улица и была названа. Вообще костелы Вильнюса, которыми все восхищались, я невзлюбил. Слишком большие, чересчур красивые, они чаще всего соседствовали с русскими церквями, такими же большими и помпезными. И те и другие казались мне колоссами, изготовившимися к схватке за эту землю, в которую пришли откуда-то издалека, возможно, даже — с другой планеты. И лишь костел Святой Анны представлялся мне стройной девушкой, должно быть, балериной, которая случайно оказалась на поле битвы и от страха не знала, куда ей деться.

Учебный год я закончил плохо. Родители сердились на меня за нерадивость, я дулся на них за то, что они привезли меня в этот несуразный город. Впрочем, злился я на всех. На учителей — за то, что они занижали мне оценки, на учеников — за то, что ни с кем из них не получилось подружиться, на Илону — за то, что ее оставили в Каунасе, на Жанну — за то, что письма от нее перестали приходить, на Альму — за то, что у нее не хватало времени для меня. Радовался я только приближению лета.

Папа сказал: «Никакого лагеря. Пусть сидит дома и занимается. Если он и следующий год закончит так же, как

этот, университета ему не видать. Кем он тогда станет — разносчиком мороженого или подмастерьем у какого-нибудь переплетчика?»

Мама сказала: «Ты, конечно, можешь его оставить дома. Только не думай, что он станет заниматься. Он целыми днями будет шататься по городу и, чего доброго, сойдется с хулиганами с Заречной».

Папа ничего не сказал.

В Палангу наша компания съехалась в полном составе, и, хотя поначалу нас распределили по разным отрядам, мы не растерялись, пустили в ход разные хитрости и уже на третий день с криком «ура!» перетаскивали свои постели в общую комнату.

Как только переездные страсти улеглись, я обратил внимание, как сильно изменились за год мои друзья. У Жорика пробились усики, он стал еще серьезнее и неприступнее. Павлик сильно вытянулся и начал сутулиться. Виктор носил совсем взрослую прическу и небольшие бакенбарды. Иозас уже не снимал очков, а Лазик располнел еще больше и стал похож на медвежонка. Только Саввик остался прежним. Он продолжал подобострастно смотреть в глаза избранным и неизменно грубил тем, кого таковыми не считал.

Изменились и наши разговоры. Начинались они и заканчивались одним — войной. Да и как иначе! Только что капитулировал Париж, в войну вступила Италия, начались бомбежки Британских островов. Лазик привез с собой большую карту мира, повесил ее на стену и разноцветными карандашами отмечал ход военных действий. Каждый вечер мы собирались возле этой карты и рассуждали о том, высадят ли немцы десант в Англии или атакуют ее с моря, захватят ли итальянцы Грецию или им, как и в Африке, надают по шее. И, конечно же, мы отчаянно спорили, выступит ли Москва на стороне Германии или поддержит Англию. Но в конце концов всё сводилось к

вопросу: что будет с нашей Литвой и что будет с нами самими? Тут все замолкали и устремляли взгляды в сторону Лазика.

Главный стратег напускал на себя важный вид:

— Что будет? А вы забыли, что мы подписали договор с русскими? Значит? Значит, Германия на нас не нападет. Со Сталиным Гитлер связываться не станет, он же не сумасшедший!

Мне очень хотелось верить Лазику, но еще больше хотелось поговорить с ним с глазу на глаз — может быть, на людях он чего-то не договаривает?

С глазу на глаз не получалось — к сестрам мы больше не ходили. Илона окончила гимназию, моталась между Вильнюсом и Каунасом, разрывалась между желанием выйти замуж и поступить в театральную студию. Родители оба ее варианта отвергали, требовали, чтобы она поступала в университет или, на худой конец, в учительскую семинарию. Что касается Жанны, то я так и не мог понять, где она и что с ней происходит. В последнем письме она писала, что попытается выехать из Парижа и добраться до Литвы через Стокгольм и Хельсинки. Но добралась ли? Сначала Лазик уверял меня, что она вот-вот объявится и ее сразу отправят в Друскенинкой «успокаивать нервы». Потом вдруг заявлял, что Жанна все еще в Париже, но «ей там ничто не грозит, так как у нее дипломатический паспорт».

Я ужасно переживал за Жанну, за бедных англичан и французов, молил Бога, чтобы Сталин, наконец, напал на Гитлера и надавал ему пинков. Впрочем, печальные мысли приходили перед сном и долго в голове не задерживались — засыпал я мертвым сном.

Утром рано-ранехонько меня будил Жорик. Мы бежали с ним на море, купались, потом обтирали полотенцами дрожащие от холода тела, бегали по пляжу наперегонки, возвращались в лагерь и будили Лазика. Будили, прикасаясь к его горячему мягкому телу холодными ладонями.

Лазик дергался, пытался укрыться под одеялом, но мы продолжали экзекуцию до тех пор, пока он не вскакивал и не бросался на нас с кулаками. Мы разбегались в разные стороны с криком: «Соня, проспал завтрак!» Лазик останавливался, чесал в затылке и горестно вопрошал: «Сколько сейчас, правда, проспал?» Мы начинали хохотать, Лазик осыпал нас ругательствами, одевался, и мы шли в столовую. Там Жорик и я становились в очередь к тете Басе, а Лазик усаживался за стол — тарелка с булочками, яйцами всмятку и кусочком масла его уже ждала: Саввик знал свое дело!

После завтрака мы шли на инструктаж к интенданту, потом на обязательные занятия спортом, на соревнования или лекции на самые различные темы. Потом наступал обед, послеобеденный отдых, а уж после все расходились кто куда: кто-то снова шел в спортзал, кто-то в музыкальный класс, кто-то — в библиотеку.

Это случилось 21 июня 1940 года. В семь утра, размахивая на ходу полотенцами, мы с Жориком мчались на пляж. Неожиданно дорогу нам преградила вереница людей, лошадей, повозок. В недоумении мы остановились. Перед нами шли понурые, усталые люди в несуразных гимнастерках с шинелями-скатками через плечо. Вместо сапог на них были бесформенные ботинки с обмотками до колен. Кони — под стать людям: неухоженные, издающие жуткий запах, они то и дело задирали хвосты, задавались ржать и, сделав свое дело, продолжали тащить тяжелые, зачехленные брезентом повозки.

Это кто — военнопленные, беженцы? Или здесь снимают кино? Но нет, на пилотках солдат красные звезды, за плечами — трехлинейные винтовки, из-под брезента то на одной повозке, то на другой выглядывают стволы пушек. Неужели армия, Красная армия? Нет! Не может быть, такой армии не бывает!

Между тем вереница повозок и понуро бредущих коней и солдат не кончалась. Мы лихорадочно крутили головами в надежде найти лазейку, чтобы проскочить к пляжу. Увы, колонна тянулась от горизонта до горизонта. Мы стояли, не зная, что делать, как вдруг около нас остановилась легковая машина. Я сразу узнал — русская ЭМКа. Их иногда можно было встретить в Каунасе и в Вильнюсе.

Из окна машины высунулся командир в фуражке с красной звездой.

— По-русски понимаешь? А ну, дуй отсюда!

Больше всего меня удивило, что командир обратился к нам в единственном числе. Что бы это могло значить — мне уходить, а Жорику оставаться? Или наоборот?

Команду каждый из нас принял на свой счет, мы попятнулись, повернулись и побежали в лагерь.

— Ну что вы паникуете? — Лазик сделал удивленное лицо. — Что, собственно, произошло? На русские базы мы согласились? Согласились. Их войска у нас стоят? Стоят. А где войска, там и военные маневры. Подумаешь, лошади закакали дорогу вдоль моря! Когда наши танки входили в Вильнюс, мостовую на проспекте тоже разворотили.

Интендант догадку Лазика подтвердил:

— Точно не знаю, но, думаю, что это советские войска пришли на учения. Как пришли, так и уйдут.

Покидать территорию лагеря он тем не менее запретил.

Йозаса и Жорика родители забрали первыми. Потом прислали за Виктором. Павлик уехал сам. Мы с Лазиком покинули лагерь последними.

Когда я вернулся домой, у нас уже был новый президент — старый, по слухам, сбежал в Германию. Впрочем, все говорили, что главный теперь не президент, а Секретарь.

Мама сказала: «Какой кошмар, теперь нами будет править какой-то большевистский секретарь!»

Папа сказал: «Ты предпочитаешь, чтобы нами правил какой-то оберштурмбанфюрер?»

Мама ничего не сказала.

Ситуация в городе сделалась тревожной, что происходит никто не знал, однако повсюду звучало слово «вывезли». «Вы слышали, вчера ночью вывезли Н...», «Как я рад, что вас не вывезли!», «Вы не знаете, К. дома или его вывезли?» Что означает слово «вывезли», никто в точности не знал. То есть никто не знал, за что вывозят, куда вывозят и надолго ли. Сначала говорили: вывозят тех, кто сотрудничал с охранкой. Потом — тех, кто служил старой власти. И, наконец, тех, кто является «буржуазным элементом». Вообще-то, все зависело от того, с кем вы говорили — с пессимистом или с оптимистом. Пессимисты уверяли: офицеров вывозят на расстрел. Оптимисты — в Москву, в Генеральный штаб; у русских таких офицеров, как наши, нет. Оптимисты не сомневались: инженеров вывозят на строительство заводов, русские наших инженеров очень ценят. Пессимисты твердили: всех вывозят в Сибирь на вечные времена.

Нас не вывезли. Много лет спустя один известный журналист, служивший в те годы переводчиком в НКВД, сказал мне, что какой-то высокий начальник, курировавший в «органах» бывших эсеров, кадетов и меньшевиков, включил папу в список на вывоз. Секретарь папину фамилию вычеркнул: «Этот человек защищал в судах членов партии. Наши товарищи не поймут, если мы его сейчас вышлем».

К неопишуемой моей радости не тронули и отца Лазика. Впрочем, радости этой поубавилось, когда выяснилось почему. Оказывается, в подвале особняка Левитаса скрывался тот самый человек, который стал... Секретарем! Что до буржуазной охранки, которая «усиленно за ним гонялась», то главный полицеймейстер и его сыщики, выигрывая в карты у господина консула крупные суммы, вопросов о том, кто живет в подвале его дома, не задавали.

Папа сказал: «Мерзавец! Запрещаю тебе дружить с его сыном».

Мама сказала: «С кем ему теперь дружить? С детьми чекистов?»

Папа ничего не сказал.

И верно, с кем? Телефоны Альмы, Йозаса и Жорика не отвечали. От Павлика пришло письмо из... Минска. Его отец умудрился вывезти семью в Белоруссию, а теперь, как польский подданный, — кто бы мог подумать! — добивался выезда в Швецию.

Мы с Лазиком остались в Литве, потому что наши отцы оказывали услуги коммунистам. Впрочем, на этом сходство кончалось, начинались различия. Дом у Левитаса не отняли. Даже телефон и автомобиль оставили. К нам же подселили семью из четырех человек.

Ивана Никифоровича Лесникова прислали из уральского города Камышлов на должность начальника телеграфа — всех «буржуазных» работников с телеграфа уволили. Сосед оказался человеком открытым и неглупым. В первый же день пришел знакомиться. Родом он был из крестьян, в первую мировую служил телеграфистом. После революции оказался в Красной армии, вступил в партию большевиков, окончил курсы связистов, стал офицером. Потом демобилизовался, вернулся в родные края, дошел до начальника районного узла связи. «А теперь, вот, бросили на Литву. Я не хотел, отказывался, но меня вызвали в райком и говорят: “Хочешь — не хочешь, а ехать придется. Раз уж они к нам присоединились, вошли в Советский Союз, наш интернациональный долг им помочь, подтянуть до нашего уровня”. Вот я и стараюсь. А как работу налажу — сразу домой!»

По квартире Иван Никифорович ходил босиком и... в подштанниках.

Мама сказала: «Боже, кого нам вселили, — он по квартире ходит в кальсонах!»

Папа сказал: «Ты бы предпочла, чтобы кто-то ходил здесь в галифе?»

Мама ничего не сказала.

Жена Ивана Никифоровича, Адуся, была самая что ни есть деревенская баба. Замкнутая, неразговорчивая, она целыми днями возилась по хозяйству: замешивала тесто, готовила, стирала и убирала. По квартире она, как и ее супруг, ходила босиком, на улицу же надевала носки и калоши.

Босиком бегали по квартире и их дочери. Старшую, мою ровесницу, звали Валентиной. Она походила на мать, была неразговорчива, смотрела на всех исподлобья, а при виде меня демонстративно поворачивалась и уходила на свою половину. Младшая, восьмилетняя Настася, — вылитый отец. Лицо открытое, глазки живые, любознательные. Меня Настася ничуть не стеснялась, при встрече обязательно спрашивала:

— Как по-вашему будет пионер?

— Пионерюс.

— А как будет вот это? — Настася задирала свой носик и показывала пальчиком на большое родимое пятно под левым глазом.

— Апгамас.

Девчущка заливалась смехом и убегала. До следующего урока.

Иван Никифорович младшенькую обожал, смотрел на нее с умилением, а по поводу родимого пятна говорил:

— Она у меня меченая, не иначе генеральшей будет.

Вселение соседей оказалось не самым большим несчастьем, свалившимся на наши головы после июня сорокового. Главное — папа лишился заработка. Новой власти «буржуазные адвокаты» были не нужны. Более того, диплом Петербургского университета не признавался, и

папа вообще не считался адвокатом. Мама начала распродавать вещи. Самым ходовым товаром оказались ее платья. Офицерские жены крутили их и так и сяк, пробовали на ощупь и, не меряя, заворачивали в газеты: «Хорош матерьяльчик-то. Как называется?»

Наконец, мама нашла работу. Ее взяли машинисткой в редакцию новой газеты «Советская Литва». С утра до вечера она стучала на допотопном «Ундервуде», домой возвращалась без сил, но на усталость не жаловалась. Вообще о работе она никогда не говорила, и лишь однажды...

Мама сказала: «Главный редактор, а шестнадцать ошибок на страницу! Ну, была же у них в Паневежесе гимназия. Или прогимназия, наконец!»

Папа сказал: «Если бы он в свое время учился в гимназии, то не был бы сегодня главным редактором “Советской Литвы”».

Мама ничего не сказала.

В нашей гимназии все изменилось. Исчезли некоторые учителя и ученики, новый директор снял отовсюду портреты Герцеля и Жаботинского и повесил на их место Маркса и Энгельса, преподавание иврита и Библии заменил историей СССР и научным естествознанием. Гимназия имени Бялика стала называться: «Средняя школа № 11 имени товарища Калинина».

Все это я принимал с каким-то тупым равнодушием, как грозу, снежную бурю или какое-то другое стихийное бедствие. По-настоящему тревожили меня судьбы исчезнувших товарищей. Где они, что с ними? Я старался убедить себя, что друзья мои живы, здоровы, а писем от них не получаю потому, что в России не везде есть почта. Я даже спросил об этом Ивана Никифоровича. Сосед пожал плечами:

— Где надо, там есть.

Забывал я о друзьях — да и обо всем на свете, — когда попадал в физический кабинет. К тому времени я увлекся техникой, чему был обязан учителю физики Владиславу Антоновичу Галинису. Под его руководством я сначала смастерил детекторный приемник, потом селеновый выпрямитель и, наконец, — не поверите! — смонтировал ламповый приемник! Уходя из школы, я обязательно уносил под мышкой стопку книг и журналов по радиотехнике, которыми меня снабжал наш учитель. Пожилой, одинокий, он был энтузиастом своего дела и не жалел времени и сил для тех, кого сумел заразить любовью к технике. Галинис учил нас сверлить и паять, мотать катушки и собирать трансформаторы. Он учил нас все делать своими руками, делать из ничего! Да и вообще Владислав Антонович знал все на свете! От него я впервые услышал слова «атом» и «квант», а когда нам случалось затемно выходить из школы, он объяснял расположение звезд и говорил о... грядущих космических путешествиях.

Девятый класс я окончил лучше, чем предыдущий, в предосудительных поступках и нежелательных связях замечен не был и оттого получил путевку в пионерлагерь. Собственно, это был все тот же лагерь «Науёйи Летува», который переименовали в «Летувос пионерюс» — «Литовский пионер».

Ехать туда мне не хотелось. Рассчитывать на встречу со старыми друзьями не приходилось, к тому же я уже чувствовал себя слишком взрослым, чтобы утром бегать на зарядку, потом толкаться в очереди в столовую, а вечером по команде ложиться спать. Родители тем не менее настаивали — путевка была бесплатной! Вначале я сопротивлялся, но, как только выяснилось, что Лазик тоже едет в Палангу, я сдался.

В лагере нам первым делом приказали построиться в линейку и объявили, что все мы теперь — пионерская дружина независимо от того, кто из нас пионер, а кто нет. Новый интендант — теперь он назывался старший пио-

нервожатый — говорил по-русски, но в конце обязательно добавлял: «Айшку?» — «Понятно?» Это был высокий, очень худой парень с огромной шевелюрой, впалыми щеками и острым носом. На первой же линейке он объявил, что зовут его Гриша Карнаухас, что по профессии он типографский наборщик, что в буржуазное время состоял в подпольном комсомоле, дважды сидел в тюрьме, а вот теперь ему «доверили воспитание молодого поколения».

Странно. Мы-то ведь знали, что после июня прошлого года подпольные комсомольцы пошли служить в НКВД. Там они выполняли работу переводчиков, наводчиков, доносчиков, участвовали в слежках и ночных облавах. Удивительно, с чего это Гриша предпочел возиться с «молодым поколением» вместо того, чтобы гонять по городу в кожаной тужурке и наводить страх на людей!

Как бы там ни было, к делу Гриша относился серьезно. Он подолгу беседовал с каждым мальчиком, интересовался, кто у него родители, чем он собирается заняться, когда окончит школу. Днем и ночью Гриша был на ногах, вникал во все мелочи, всюду успевал, не забывал похвалить за удачи, не оставлял без внимания тех, кто просыпал, опаздывал на линейку или хулиганил. А таких было много.

Из «старичков» приехали только мы с Лазиком и Саввик. Остальные были новенькими и очень похожими друг на друга. Угловатые, разболтанные, они ходили, шаркая ногами, размахивали руками, толкались и плевали. Плевали куда угодно — на пол, на окна, на потолок. Одеты они тоже были одинаково: белые рубашки с короткими рукавами, широкие болтающиеся штаны, грубые черные ботинки. Друг друга они называли кличками: высокого — «Каланча», толстого — «Пузырь», парня с фамилией Коровин — «Корова». И даже когда и употребляли имена, то чаще всего говорили «Колька», «Васька» или «Петька». Больше всего, однако, было Вовок. Мы так их и называли — вовики.

Старшим по отряду — теперь он именовался председателем — Гриша назначил Саввика. И объяснил почему. Председатель отряда должен быть пролетарского происхождения, однако ж говорить он обязан и по-русски, и по-литовски.

Получив назначение, Саввик тут же перестал смотреть на Лазика снизу вверх, а вечером даже не подошел к нему пожелать спокойной ночи. Утром, еще до горна, Саввик вскочил с постели и заорал во весь голос:

— Вставать, бездельники, поднимать зады!

Удержался Саввик на должности председателя отряда недолго. Когда мы построились на линейку и на трибуну поднялся Гриша, Саввик отдал ему салют, а нам скомандовал:

— Говнясь! Смигно!

Несколько секунд длилось гробовое молчание, потом вовики схватились за животы и повалились от смеха. Гриша тоже было засмеялся, но тут же сделал строгое лицо и скомандовал:

— Прекратить! Всем встать в строй! И ты, Савелий, тоже — в строй!

После завтрака Гриша пришел в отряд, прочел нам лекцию о том, как важно в совершенстве владеть «языком Ленина и Сталина», обещал организовать уроки русского языка. Новым председателем отряда он назначил Колю Комарова.

Глаз у Гриши был наметан: «Комаровас» — так он назвал Колю — отличался от других вовиков. Он не толкался, не плевался и не обзывался. Во время обеда он не вырывал ни у кого ложку, не облизывал тарелку. Постель Коля убирал тщательно и время от времени... чистил ботинки.

Впрочем, разговор не о том.

Это случилось в ночь на 22 июня. Мы проснулись от сильного гула. Точнее, это был не гул, а грохот, который сопровождался вспышками молнии. Гроза — первое, что

пришло в голову. Мы бросились к окнам, но странно, дождя не было. Не было и молний; небо к западу и северу от нас сверкало, загораясь то крупными, то мелкими вспышками, рассекалось то тонкими, то широкими лучами невидимых нам прожекторов. Земля же дрожала, словно во время землетрясения. Нет, происходит что-то необычное!

Неожиданно в палату влетел Гриша. Осветив фонариком койки и убедившись, что все на месте, он грозно командовал:

— Всем одеваться и собирать вещи. Свет включать за-прещаю. Через пять минут вернусь, и чтобы были готовы!

Сказал и исчез. Меня охватил страх. Быть может, нечто большее, чем страх. Во всяком случае, сердце сжалось так, что, казалось, вот-вот перестанет биться. Тогда я еще не знал, что спустя много лет это чувство будет время от времени возвращаться ко мне по ночам, и я буду просыпаться в поту, вспоминая ту июньскую ночь 1941 года.

А пока что я лихорадочно собирал свои вещи и пытался засунуть их в чемодан. Засунуть — засунул, но закрыть не получалось. Позвал на подмогу Лазика. Лазик подошел, и тут я увидел его лицо. По нему текли слезы.

— Ты что, это же просто учения, — попытался успокоить его и себя.

— Дурак. Это война, понимаешь, война!

Появился Гриша.

— Готовы? Цепочкой за мной. По дороге не разговаривать, фонариков не зажигать!

Мы шли какими-то неизвестными переулками, пробирались между дворами и огородами, пролезали через замаскированные лазы в заборах. Дыхания не хватало, чемодан бил по ногам, я то и дело спотыкался, падал, но Лазик помогал мне подняться. Потом падал Лазик, и тогда уже я хватал его за руку и тащил дальше.

Неожиданно перед нами открылась пристань. Гриша приказал:

— Присесть, по пирсу гуськом за мной.

Мы бежали — или ползли — за Гришей до тех пор, пока не оказались возле большого пузатого баркаса. Гриша негромко постучал по борту.

Через минуту наверху показалась бородатая физиономия в капитанской фуражке.

— Тебе чего?

— Пустой? Куда идешь?

— Никуда не иду.

— Вот и хорошо, возьмешь ребят из пионерлагеря.

— Чего? Каких ребят? Ты что, спятил, не видишь, что делается? Тут хоть все бросай и беги, куда глаза глядят, а ты пацанов придумал катать!

— Да не катать! Это советские пионеры, сам понимаешь, что с ними будет, когда фашисты придут! Бери ребят и пробирайся в Ленинград.

— Чего несешь? В какой Ленинград! В море-то выйти страшно...

Гриша вытянулся в струнку, его острый нос стал еще острее, впалые щеки совсем провалились. Медленным движением, словно носовой платок, достал он из кармана брюк блестящий браунинг и не сказал, прошипел:

— Пристрелю, как собаку.

В эту минуту Гриша был похож на волка.

— Ты чего, ты чего, парень! Да ведь пропадем мы, не доберемся до Питера, все равно не доберемся.

— Спускай лестницу, говорю. И не бойся, до Ленинграда доберемся, не в первый раз.

Мы спустились в трюм, уселись на пол, стараясь прийти в себя и перевести дыхание. Наверху, между тем, продолжалась словесная перепалка, потом разговоры стихли, дернулся и застучал мотор.

Освещая ступеньки фонариком, к нам спустился Гриша.

— Так, ребята, начнем с переклички.

Гриша достал список и стал выкликать нас по фамилиям. Шестерых не досчитались. В том числе Саввика:

— Безобразие! Не помогли товарищам. Пионеры так не поступают.

Гриша тяжело вздохнул:

— Ладно, теперь уж ничего не изменишь. Так вот, идем мы в Ленинград. Там переждем, а потом вернемся и отправимся по домам. Идти будем дня три-четыре. Ваше дело — сидеть тихо и лишних хлопот не доставлять. Мне и с командой дел хватит: народ ненадежный, люмпены. Старшим назначаю Комароваса. В случае чего, Коля, поднимайся ко мне наверх. Ну, а теперь устраивайтесь. И не робеть, ребята!

Гриша принялся шнырять по трюму, нашел где-то керосиновый фонарь, выкатил откуда-то пустую бочку.

— Ходить по надобности будете сюда, в бочку, а лампу зажигать только в случае крайней необходимости.

Гриша поднялся наверх, а мы стали располагаться на ночлег. Я вынул из чемодана пальто, постелил его между двумя большими ящиками, улегся вместе с Лазиком. Потом мы укрылись плащом, прижались друг к другу. Стало спокойней.

Подошел Комаровас, спросил дружелюбно:

— Ну что, барчуки, улеглись? Можно тушить?

К утру Гриша привел баркас в какую-то одному ему известную бухту и исчез. Но прежде передал браунинг Коле Комарову.

— Через час я вернусь, а ты смотри за командой в оба. Если что, клади всех на месте. Без них тоже доберемся.

Через час Гриша вернулся с мешком за плечами и бидоном в руках. Продовольствием мы были обеспечены, и, как только стемнело, баркас взял курс на север.

Так продолжалось трое суток: ночью мы плыли, пробираясь между берегом и какими-то островами, днем становились на прикол в неведомых бухтах, выходили размять ноги, подышать воздухом.

Наступила четвертая ночь. По всей видимости, напряжение последних дней взяло свое — в эту ночь я заснул быстро и спал крепко.

Разбудил меня жуткий вой. Не успел я сообразить, что происходит, как где-то справа прогремел мощный взрыв. Баркас так качнуло, что Лазик очутился на мне. Я вскочил, но тут же упал на Лазика — баркас резко накренился на другой борт. Гул удалился, и я услышал, как наверху кричит Гриша: «Вправо, вправо давай!»

Гул превратился в сплошной рев, прямо над нами раздалась пулеметная очередь. Я слышал, как пули били по воде слева от нас. Потом впереди снова раздался взрыв. Баркас качнулся и так задрал нос, что мы вместе с ящиками и мешками покатались к корме. Потом также дружно скатались обратно. Баркас еще несколько раз качнуло, но потом все стихло. С замиранием сердца мы ждали нового налета, но он не повторился — возможно, нас сочли не слишком важной целью.

В трюм спустился Гриша:

— Ну вот, ребята, кажется, прорвались. Теперь собирайте вещи, скоро будем на месте.

И верно, через какое-то время баркас ударился правым бортом. Где-то кричали: «Давай концы!»

Гриша поднял люк.

— На палубу, ребята. Стройся в шеренгу.

На негнущихся, затекших ногах мы выползли на палубу.

На пирсе стояли солдаты. Офицер в плащ-палатке командовал:

— Выходи по одному!

Гриша сошел первым, отдал честь офицеру и стал с ним о чем-то говорить.

От волнения и свежего воздуха я чуть не потерял сознание — перестал видеть, слышать, понимать, где нахожусь и что происходит. Когда же пришел в себя, успел разобрать только конец разговора.

— Оружие есть? — спросил офицер.

— Браунинг. Личный подарок товарища Деканозова.

— Сдать!

Гриша протянул пистолет.

Нам приказали сходить на берег. Офицер спрашивал фамилию и сверял по списку.

Началась новая жизнь.

## *Глава вторая*

Гриша сказал: «Задача — устроить ребят в детский дом. Там пока за ними присмотрят, а как только Литву освободят, отправим их по домам».

Франтишек сказал: «Какой детский дом, Григорий? Они же большие, для детдома не подходят. И вообще, лучше эвакуировать их куда подальше».

Гриша сказал: «Эвакуировать неизвестно куда? А если потеряются? Да и как потом домой добираться станут? Нет, эвакуировать не годится».

Франтишек сказал: «Тогда уж лучше в ремесленное училище».

Гриша сказал: «Почему в ремесленное?»

Франтишек сказал: «Там они делу обучатся. А будет дело в руках — не пропадут».

Прошло три дня, как мы высадились в Ивангороде, а потом где пешком, где на попутных грузовиках добирались до Ленинграда. При въезде в город нас встретил милицкий кордон: документы! Документов не было. Гриша пустился в объяснения; он то по-дружески убеждал милиционеров, то кричал на них и размахивал руками — не помогло. Голодные, измученные, ничего не соображающие, мы устроились на обочине вместе с другими беспаспортными беженцами и с завистью смотрели, как те развязывали свои мешки, доставали хлеб, огурцы и яйца.

Я отвернулся, закрыл глаза и тут же заснул.

Разбудил меня жуткий вой. По небу в сторону города неслись немецкие самолеты. Где-то поблизости застучали зенитки, вдали раздались глухие раскаты взрывов. Бежен-

цы, только что неспешно закусывавшие, вскакивали, на ходу хватали свои мешки и бросались врассыпную. Я протер глаза и тут же решил — надо бежать! Схватил, было, Лазика за руку, но тут к нам подскочил Гриша.

— Не разбегаться, все ко мне!

И снова, как четыре дня назад в Паланге, мы побежали цепочкой за Гришей в ближайший лесок. Потом шли тропинками. Шли, шли и, как мне показалось, вышли на лесную поляну. И — о чудо! — на поляне стоял... трамвай. Это было двойное чудо. Во-первых, я был уверен, что мы углубимся в лесную чащу, оказалось, что мы бродили всего лишь по городскому парку. Во-вторых, я никогда не видел трамваев: ни в Вильнюсе, ни в Каунасе их не было.

Гриша замедлил шаг, огляделся и повел нас на остановку. Кондукторша последнего вагона, пухлая краснощекая девица, увешанная немислимым количеством рулонов с разноцветными билетиками, смотрела на нас с любопытством.

— Когда отходим, гражданочка? — уважительно спросил Гриша.

— Отбой дадут, сразу и тронемся.

— Послушай, красавица, это ребята из пионерлагеря. Денег у нас нет. Довезешь до центра?

Девушка молчала, пытаясь, видимо, сообразить, кто мы такие. Наконец до нее дошло, что растрепанные, запыхавшиеся мальчишки с мешками и чемоданами не какие-то любители покататься без билета, а самые что ни на есть беженцы, которые уже начали стекаться в Ленинград из окрестных городков и поселков. На всякий случай спросила:

— Из какого лагеря-то?

— Ивангород. Пионерлагерь «Зорька».

Слово «Зорька» подействовало словно пароль.

— Ну, садитесь. Только, смотрите, если появится контролер...

Сирена прогудела отбой, водитель ударил в колокол, трамвай тронулся. Замелькали сады, огороды, деревянные домики. Через какое-то время лесная дорога перешла в широкий, мощенный булыжником проспект, начался город Ленинград. Город, где родилась мама, где учился папа, где они встретились, поженились, откуда бежали после революции, спасаясь от новых порядков.

Трамвай между тем пронзительно визжал на поворотах, кренился то на одну, то на другую сторону, в вагон набились люди — кто-то курил, кто-то лужгал семечки, кто-то кричал на ребенка. Всего этого я не замечал, жадно всматриваясь в огромные дома с арками, колокольни церквей, изящные горбатые мостики. А еще меня поразили регулировщики, которые, словно акробаты в цирке, махали своими жезлами и ловко поворачивались вокруг собственной оси.

Усталость взяла свое, я задремал. Растолкал меня Лазик: — Вставай, Гриша велит выходить.

С трудом поднялся, вместе с Лазиком пробился к выходу. Гриша дождался, пока все ребята вышли, велел строиться парами. Мы построились и побрели за ним по широкому асфальтированному тротуару. Шли мы долго, наверное, столько, сколько нужно было, чтобы дважды обойти весь Каунас. Время от времени Гриша замедлял шаг, давая возможность подтянуться отстающим:

— Устали? А ну, бодренько! Еще немного, и мы у цели.

«Еще немного» длилось целую вечность. Мы сворачивали из одного переулка в другой, пересекали скверы, проходили дворами, пока, наконец, не оказались возле дома, чем-то напоминавшего мою вильнюсскую гимназию.

— Стоп, пришли. Теперь разгружаться, устраиваться на скамейках, — скомандовал Гриша. — Я сейчас вернусь. И чтобы не разбежаться!

Гриша исчез в дверях, мы уселись на скамейки, не в силах не только разбежаться, но даже шевелить языками.

Вернулся Гриша не один.

— Это товарищ Франтишек, он нас сейчас устроит.

Пожилой мужчина в галифе и высоких сапогах приветливо улыбнулся в густые усы и повел нас в здание, которое и в самом деле оказалось школой. Там он отпер дверь спортзала, велел разбирать матрасы, устраиваться на ночлег.

Разбудило меня яркое солнце, которое било в глаза сквозь огромное окно. Приподнялся, огляделся. Рядом похрапывал Лазик. Чуть дальше в разных позах — кто, раскинув руки, кто, свернувшись калачиком, — спали наши ребята. В углу за столом, предназначенным для игры в настольный теннис, сидели Гриша и Франтишек.

Гриша сказал: «Наверно, Франц, ты прав, ремесло в руках — это хорошо. Но как их в ремесленное засунуть, где направление получить?»

Франтишек сказал: «Об этом не беспокойся, бумагу я в два счета состряпаю. Ты мне другое скажи, сам-то ты как, как легкое?»

Гриша сказал: «С легким неважно, но об этом не время думать. Война кончится, поеду в санаторий, сейчас главное — ребят пристроить».

Франтишек сказал: «Ах, Григорий, Григорий! Ты все такой же, ничуть не изменился. На-ка, сальца поешь. Сало для тебя — прекрасное лечение. Теперь дай мне список, я пойду бумаги делать, а ты смотри сюда: в бидоне компот, в кастрюле пончики; пацаны встанут — пусть завтракают. А сало тебе, понял?»

До ремесленного училища добирались целый день. То не могли забраться в переполненный трамвай, то вдруг начинали выть сирены воздушной тревоги, и мы вместе с прохожими бросались в ближайшие подъезды. Под вечер добрались до невзрачного серого здания с решетками на окнах и большой железной дверью. Гриша принялся сту-

чать. Стучать ему пришлось долго. Наконец, в глубине двора раздался глухой женский голос:

— Чего нужно?

— Директора нужно. Ребят привел на учебу.

— Какого еще директора! Завтра приходи, сегодня никого нету.

— Да ты что — завтра! Ребята издалека приехали, куда нам идти?

— А што я знаю. Я тута сторожу. Мне што издалека, што сблизу. Говорю, приходи завтра.

— Ты хоть пусти переночевать. Нам что, всю ночь у дверей стоять?

Сторожиха крякнула, выругалась и исчезла.

Минут через десять снова послышались шаги.

— Кто такие, что нужно? — спросил хриплый мужской голос.

— Моя фамилия Карнаухас. Со мной дети, эвакуированные из Литвы. Мы к вам по направлению райкома партии.

— Сколько вас?

— Пятнадцать человек.

Прошла еще минута, засовы заскрипели, дверь открылась.

Узкая лестница, облезлые стены, закопченный потолок, углы, затянутые паутиной. И запах. Острый, неприятный, въедливый.

— Первый и второй этажи — цеха, третий и четвертый — спальни, — по ходу объяснял маленький человек в синем халате и несурезной шляпе, велевший называть себя «мастер».

Мы поднялись на четвертый этаж и оказались в коридоре со множеством железных дверей, на которых висели замки. Мастер снял замок с одной из них, скомандовал:

— Трое сюда!

Вместе с Лазиком вошел в комнату, напоминавшую вагон старенького поезда, что ходил между Вильнюсом и

Каунасом. С потолка на длинном проводе свисала лампочка, едва освещавшая двухэтажные нары, тумбочки и какое-то сооружение, похожее на шкаф. Часть нар была не застелена.

Мастер открыл шкаф:

— Здесь одеяла и подушки, устраивайтесь на свободных местах.

Мелькнула мысль: без наволочек и простыней? Не успел я об этом подумать, как на застеленных койках началось шевеление. Из-под одеял то там, то здесь показались какие-то странные лица. Как? Дверь-то была на замке!

Мастер рявкнул:

— Спать! Это новенькие.

Дверь захлопнулась, шелкнул замок.

Утром нам выдали рубашки, штаны, телогрейки и кирзовые ботинки.

— Можно оставить свои? — спросил Лазик с дрожью в голосе.

— Ты что, дурной? В твоих ботиночках только по Невскому прогуливаться. В цеху от них через день одни шнурки останутся.

В слесарке висел тяжелый запах машинного масла, пыль, перемешанная с копотью, поднималась к потолку, а оттуда к верстакам и сверлильным станкам спускались лампочки, прикрытые маленькими железными абажурами. На полу валялись стружки, обрезки металла, окурки. Свет едва пробивался сквозь закопченные окна.

Нас поставили к верстакам, дали в руки по железному бруску и напильнику. Задание — выпилить головку для молотка. Задание пустяковое, в мастерской Владислава Антоновича я и не такое делал! Все оказалось не так, как у Галиниса. Там-то напильники были новые, острые, с деревянными ручками. К тому же работать без перчаток Галинис не разрешал. Здесь же нам дали старые затертые рашпили, которые едва брали металл. О перчатках, похо-

же, в ремеслухе и вовсе не слышали. Короче, когда моя заготовка начала обретать форму молотка, руки уже ныли и плохо слушались.

Убедившись, что дело идет к концу, я отложил напильник и подошел к Лазику. Его руки были в крови, по красному, возбужденному лицу вперемежку с крупными каплями пота текли слезы. Болванка несуразной формы то и дело выскакивала из его тисков, он поднимал ее, на ходу зализывал кровь, вновь закреплял кусок железа, но первая же попытка провести по нему напильником кончалась плачевно — заготовка выскользывала, все начиналось сначала.

Недолго думая, я отдал Лазику свой почти готовый брусок.

— Дай мне твой, я его поправлю.

Поправить то, что сотворил Лазик, не удавалось: яйцеобразный кусок металла держаться в тисках не хотел, придать ему форму молотка не получалось.

Подошел мастер:

— Ты что говёшку смастерил? Глаза-то у тебя где? А ну, начинай все с начала. Да ладом! — приказал он мне. — А ты, толстяк, молодец, неплохо. А что руки ободрал — это не страшно.

Мастер направился к железной тумбочке, достал большую бутылку.

— Подставь-ка, — скомандовал он Лазику.

Лазик протянул руки и тут же завыл во весь голос — мастер обильно полил их йодом.

В воскресенье был банный день. Сначала нас отвели в душевую, где всех постригли наголо. Стригли свои же ремесленники, стригли старыми и тупыми машинками, отчего наши головы покрылась многочисленными ранами. Раны тут же смазывали йодом, потом велели одеваться и строиться. У ворот нас пересчитали, выдали шайки — одну на троих — и по куску мыла. Тоже на троих. Прозвучала команда: «Шагом, марш!», мы тронулись.

По всей видимости, колонна мальчишек, одетых в латаные-перелатаные телогрейки, со стриженными и пятнистыми от йода головами, производила на прохожих жуткое впечатление. Завидя нас, люди шарахались, переходили на другую сторону.

— Тюремщиков ведут, — крестясь, сказала одна старушка.

— Да нет, это ремесленники, — махнула рукой другая.

Три недели мы провели в слесарном цеху, учились пилить, сверлить, затачивать инструмент, пользоваться штангенциркулем и угломером. Впереди нас ждал токарный цех, потом литейка, куда я заглядывал с любопытством: лить формы казалось мне делом интересным. Незаметно, сама собой появилась уверенность: справлюсь, потяну!

Начал я привыкать и к своему новому дому. Ночами плакал все реже, спал крепко, а если просыпался, то лишь когда соседи подстраивали мне какую-нибудь гадость, например, подкладывали в постель крысу. Все чаще подучалось правильно намотать портянки — ноги перестали кровоточить. Привычным сделалось и ощущение голода — за работой я уже не думал о еде, сосать под ложечкой начинало лишь ближе к обеду.

Прошное навещало меня только во сне. Однажды ночью я подслушал, как спорили мама и папа.

Мама сказала: «Лучше всего ему стать слесарем, у него хорошо получается».

Папа сказал: «Чепуха, что такое слесарь? Пусть учится на станочника!»

Мама ничего не сказала.

Утром снова был подъем, помывка, завтрак и слесарный цех.

Единственной ниточкой, связывающей нас с миром, был Гриша. Он приходил по воскресеньям, собирал «литовцев» в столовке, рассказывал, что происходит за стенами училища.

Ничего хорошего там не происходило: «Сдали Ригу, оставили Минск. Да и тут, под Ленинградом, вынуждены отступать. Так что с освобождением Литвы придется подождать».

Конечно, газет мы не читали, радио не слушали, но то, что положение ухудшается, понимали и без того. Все чаще завывали сирены воздушной тревоги, причем, когда такое случалось, нас тут же загоняли в подвал. Потом к сиренам привыкли, бояться зажигательных бомб перестали. Во дворе и на крыше поставили ящики с песком, установили дежурство. Если шипящая и свистящая «зажигалка» попадала на нашу территорию, дежурные ее тут же засыпали песком. Хуже, когда начинался артобстрел. Снарядов и фугасных бомб мы боялись и безо всякой команды бежали в подвал. Впрочем, нет худа без добра: нас перестали запирать на ночь!

Однажды Гриша принес радостную весть: отыскались родственники пятерых мальчиков из нашего отряда. У троих — здесь, в Ленинграде, у двоих — где-то в России, куда Гриша обещал отправить их при первой возможности. В тот день, когда ребята уезжали, мне сделалось плохо. Голова кружилась, перед глазамиплыли круги, а сердце шемило, как тогда в Паланге, в ночь на 22 июня. Весь день я проходил словно в тумане, а ночью снова услышал папу и маму.

Мама сказала: «Поверь, сынок, лучше всего тебе остаться в ремесленном училище».

Папа сказал: «Да, да, оставайся и осваивай ремесло. Это тебе поможет в жизни».

Мама кивнула головой в знак согласия.

Между тем один за другим уходили на фронт мастера. Мы все чаще оказывались предоставленными самим себе, слонялись из цеха в цех, не зная, чем себя занять. Директор на нас кричал, требовал заняться делом, в конце же

концов решил отправить «лишних» на Ленинградский металлический завод. Лишними, конечно же, оказались мы, «литовцы».

Ранним сентябрьским утром, когда небо затянули темно-серые тучи, а пронзительный ветер пробирал до костей, нас построили в колонну и повели на завод.

Алексеич сказал: «Ну вот, Зосима, жиденят получили в подмогу, мать вашу так! Моисеич, гад, своих пристроил».

Зосима сказал: «Все лучше, чем баб. Обучатся, работать будут».

Алексеич сказал: «Хрен они тебе работать будут, им, небось, мамашка жопу шелковым платком подтирала, а ты — работать!»

Зосима сказал: «Ну, ладно рассуждать-то, давай доставай».

Жиденята — это мы с Лазиком и... Коля Комаров.

На завод добрались к обеду. В проходной нас пересчитали и сдали с рук на руки высокой молодой женщине, в сапогах и солдатской телогрейке, перетянутой ремнем.

— Я, пацаны, из отдела кадров, звать меня Катерина Кондакова, а это наш завод. Баловства здесь чтобы не было, смотрите у меня! Работать добросовестно, сил не жалеть. От нас зависит оборона города и всей страны. Обедать будете на заводе, ужинать и спать пойдете к себе в училище. А сейчас — за мной!

Кадровичка долго кружила вокруг заводских корпусов, штабелей из металлических труб, многочисленных свалок из стружки и мусора. Наконец она толкнула ногой небольшую узкую дверь. Хорошо знакомый запах машинного перегара ударил в нос, мы оказались в огромном цеху, где во все стороны, куда ни глянь, виднелись станки. В проходах между ними сновали женщины в черных халатах и телогрейках: кто-то тянул груженую тачку, кто-то нес на плече огромную балку, кто-то собирал стружку. Работа кипела всюю!

По железной лестнице мы поднялись на второй этаж и без стука вошли в заставленную шкафами и заваленную бумагами комнату.

— Вот, Моисеич, это парни из ремесленного. Ты все специалистов просил. На, получай!

Моисеич, высокий грузный мужчина в потертом пиджаке и засаленном галстуке, кричал в телефонную трубку, размахивал руками и одновременно листал папку с чертежами. Покосившись на нас огромными глазами, моргнул — ждите, мол!

Ждать пришлось долго: кто-то постоянно входил, что-то докладывал, о чем-то расспрашивал. Моисеич говорил со всеми сразу, продолжая одновременно жестикулировать и рыться в папках. Время от времени он кивал в нашу сторону — ждите! Наконец он вышел из-за стола; ждите — кивнул очередным посетителям.

— Из ремесленного, значит. Хорошо, будем знакомиться. Я — начальник цеха, фамилия моя Каплан. Старший мастер у нас Кирпичников, он сейчас зайдет. Работы у нас выше головы, — Каплан на минуту задумался. — А ну, поднимите руки, кто хочет в токаря?

Руки подняли все.

— Ага, все хотите быть станочниками. Ясно, а в слесаря кто хочет?

Я заколебался. По правде, в токари я попросился за компанию, в действительности на токарном станке работать не умел. Чуть помедлив, поднял руку. Глядя на меня, руку поднял и Лазик, а затем и Коля Комаров. Честный все же он парень, мелькнуло в голове, токарить-то никто из наших не умеет!

— Ты вот что, Катюша, отведи этих троих к Зосиме на спецучасток, они там с Алексеичем вдвоем остались, задыхаются. А токарей Кирпичников сам по участкам разведет.

— За мной! — скомандовала Катерина и повела нас вдоль балюстрады.

Внизу урчали станки, гроыхали прессы, кран-великан подхватывал огромный поддон с металлическими трубами и, словно пушинку, переносил с места на место. И повсюду, словно в огромном муравейнике, сустились люди. Зрелище было захватывающее.

Наконец кадровичка остановились около какой-то двери, постучала, дождалась, пока внутри что-то шелкнуло, и потянула за ручку.

Спецучасток представлял собой просторную комнату с большими окнами, вдоль которых стояли слесарные верстаки. В углу — небольшой сверлильный станок, у противоположной стены — точилка, железные шкафы и тумбочки. Посреди комнаты виселись две горки деталей. В одной — чистые, блестящие, по всей видимости, готовые к отправке, в другой — еще не обработанные заготовки. Самое же удивительное — кругом была чистота! Ни на верстаках, ни возле сверлилки не видно было стружки, обрезков металла, ветоши или другого мусора. На полу не было даже пятен масла!

Два человека, один — высокий, сутулый, с карими не моргающими глазами, другой — приземистый, пухлый, с изъеденным оспой лицом и маленькими колючими глазками, застыли в позе «Не ждали!».

— Вот, Зосима Петрович, привела тебе ребят из ремесленного. Ты ведь специалистов просил? На, получай! — Катерина открыла папку и, спотыкаясь, зачитала наши фамилии.

— А это, ребята, — она показала нам на высокого, — старший по участку, Зосима Петрович. Чтобы слушаться его, не сачковать, задания выполнять — кровь из носу! Поняли? Ладно, Зосима, я побегу. Загляну к вечеру.

Выполнять команду: «Давай доставай!» — толстяк не спешил. Он заложил руки за спину, вразвалочку подошел ко мне, впился глазами:

— Так правильно я говорю, шелковым платочком Сара Абрамовна тебе жопку вытирала?

— Какая Сара Абрамовна?

— А матку твою как звали?

— Клара Евсеевна.

— А, Клара Евсеевна! Вот оно как! А папка — Абрам Абрамыч?

— Да отвяжись ты от парня, доставай, говорю, — вмешался Зосима.

Алексеич повернулся ко мне спиной, наклонился и испустил взрывообразный звук. Затем он проворно нырнул в глубину большого шкафа, порылся там минуту-другую, достал газетный сверток и две оловянные кружки. Ловко высвободил бутылку, разлил мутную жидкость.

— С помощничками тебя, Зосима!

Зосима и Алексеич разом опрокинули кружки, разом же крикнули и вытерли рты рукавами:

— Еще?

— Давай по малой, и работать. Сегодня рамки привезут.

Алексеич разлил, процедура повторилась, после чего толстяк тщательно завернул бутылку, убрал ее в шкаф. Как бы между прочим заметил:

— А тому, кто насекает, шабер в жопу.

Мы стояли ошарашенные, плохо понимающие, куда попали и что должны делать. Между тем Зосима еще раз вытер рот рукавом, прокашлялся и вдруг как-то резко изменился. Лицо подобрело, глаза засветились, губы растянулись в улыбке:

— Не дрейфь, пацаны. Небось не боги горшки обжигают. Поди-ка сюда, — кивнул он Лазику. — Звать-то тебя как, не запомнил что-то.

— Лазарь.

— Не Каганович ли? — вмешался Алексеич.

Зосима на реплику Алексеича внимания не обратил, подвел Лазика к сверлильному станку, достал из груды заготовок образец, показал, где сверлить, куда смахивать стружку. Показывая, каждый раз спрашивал: «Усек?» Лазик кивал, но я-то видел, каким напряженным сделалось

его лицо. Хоть бы для начала дал напильником поработать, а то сразу к станку!

Приставив Лазика к делу, Зосима принялся за меня — протянул литую конструкцию замысловатой формы:

— Шабрить приходилось?

Шабрить я не умел. Зосима достал шабер — старый треугольный напильник с заточенным концом, попробовал пальцем заточку, покачал головой, подошел к точилке:

— На первый раз сам заправлю. Смотри и учись.

Протянув мне шабер, учитель объяснил, где снимать стружку.

Дело показалось простым. Не тут-то было! В восемь вечера, когда руки уже отказывались держать шабер, а живот сводило от голода, в дверь постучали.

Катя Кондакова собрала ремесленников в проходной, передала мастеру:

— До завтра, пацаны. И не вешать носа, поначалу оно всегда трудно, привыкнете.

Как я добрался до ремеслухи, как взобрался на нары, не помню. Помню только, что утром меня расталкивали всем миром — щипали, щекотали, хлопали по щекам. Подняться я не мог. Лучше убейте, думал, но на завод не пойду. Когда меня оставили в покое, услышал голос Лазика. Он гладил меня по лицу, говорил тихо по-литовски:

— Если ты не пойдешь, я тоже не пойду, они ведь меня одного все равно замучают. Лучше уж...

Я открыл глаза. Лазик смотрел на меня, не отрываясь, не моргая, и, что самое удивительное, глаза его были совершенно сухими. Понял: он не канючит, он — серьезно.

Какая-то сила подняла меня с постели, заставила ополоснуть лицо, выпить стакан бурды под названием кисель, засунуть в карман сухой паек и встать в строй. Под улюлюкание счастливых — тех, кому никуда не нужно было идти, колонна тронулась.

Как ни тяжело было ходить по утрам на завод и затемно возвращаться в училище, все тяготы забывались, когда в цех въезжала полевая кухня. Народ выстраивался в очередь: сначала станочники, потом слесаря, потом грузчицы, уборщицы и служащие. Мастера заходили на раздачу без очереди, а начальники участков, старший мастер и сам Моисеич ходили обедать куда-то в столовую. Мы раздобыли миски, ложки и кружки, и по команде Зосимы спускались в очередь за гороховым супом, перловой кашей с кусочками мяса и ломтем черного хлеба. И не важно, что суп был жидким, хлеб — сырым, а следы мяса едва можно было отыскать в перловом вареве. Главное, повара накладывала столько, сколько хочешь, хоть до краев миски!

Получив свое, мы с величайшей осторожностью поднимались на участок и устраивались за верстаком, предварительно покрыв его газетой, — беспорядка Зосима не терпел. Когда все собирались, Алексеич разливал, Зосима говорил: «С Богом!», и мы приступали.

Сытная кормежка и семейная обстановка на спецучастке действовали магически. Мы не только утоляли голод, о чем не могли мечтать в ремеслухе, но и чувствовали себя частью коллектива, который живет и трудится, чтобы выстоять и победить. Откуда-то изнутри поднималось желание работать еще больше и еще лучше.

Приступить к работе после обеда было не так-то просто. Глаза слипались, руки не слушались, ноги не держали. Зосима, глядя на нас, ворчал, Алексеич отпускал свои шутки:

— Шевелись, шевелись, шабаш будете справлять в другой раз.

Работы и в самом деле было невпроворот. Самую сложную делал Зосима, самую легкую — Алексеич, на нашу долю оставалась самая простая — сверлить, шабрить, заправлять углы. Простая-то простая, но детали шли сотнями, к обеду рябило в глазах, а от однообразных движений

болели плечи, затекали ноги. Но все это начинало казаться мелкими неприятностями, когда со словами: «Постаменты пришли!» — в дверь стучала крановщица.

Постаментами называли каркасы орудийных башен. Отливали их в литейном цеху, отливали с большим количеством дефектов. Одни из них были видны снаружи, другие, внутренние, старший мастер отыскивал, выстукивая постамент небольшим молоточком. И видимые, и невидимые он обводил химическим карандашом, наша же задача заключалась в том, чтобы превратить замысловатые раковины в открытые воронки, удобные для закладки в них металлических вкладышей. Постаменты, понятно, на спецучасток не поднимали, а кто-то из нас, ремесленников, спускался в цех и начинал долбить стальной каркас с помощью зубила и молотка. Работа была каторжной. Хорошо еще, если дефект находился на внешней стороне постамента, но, если к нему можно было добраться только изнутри, кричи караул. Бить молотком по зубилу приходилось, согнувшись в три погибели. К концу дня тот, кому выпадала эта работа, едва держался на ногах.

К счастью, постаменты привозили не каждый день. К тому же Зосима всегда давал «каторжнику» передышку — на следующий день поручал ему легкую работу или велел наводить на участке порядок.

Между тем я обратил внимание, что те из наших ремесленников, кому выпало попасть в станочники, смотрят на нас, слесарей, с завистью. Поначалу не мог взять в толк: чему там завидовать? Но однажды по дороге в училище один из наших станочников не выдержал:

— Хорошо вам на спецучастке, то одна работа, то другая. Хоть интересно. А у нас с утра до ночи — снимай заусенцы да укладывай снаряды. Снимай и укладывай. Рехнуться можно!

Хождение в училище прекратилось неожиданно. Было так. Собрались мы в проходной, дождались отбоя воздушной тревоги и потащились домой, не замечая никого и не

чувствуя ничего, кроме холода и пронзительного ветра. Не обратили мы внимания и на обогнавшие нас пожарные машины с притушенными фарами — дело после налета обычное. Но как только завернули к училищу, дорогу нам преградили пожарники.

— Куда прёте?

— В ремесленное мы, третий дом отсюда.

— Слепые вы, что ли! Нет больше вашего училища.

И верно, чуть ли не весь квартал лежал в развалинах, на месте ремеслухи торчали разбитые стены, а между догоравшими балками суетились пожарные с ведрами в руках.

Утром на спецучасток в сопровождении Кати Кондаковой явился сам Моисеич.

— Сколько вас? Трое? — Каплан оглядел помещение и повернулся к кадровичке. — Ну, с этими проще. Пусть ночуют на участке. Ты, Катюша, озаботься насчет матрацев и одеял. Утром их можно убирать на шкаф. Спать здесь тепло, а мыться будут в туалете, вода там всегда есть. И вот еще что, не забудь записать ребят на завтрак.

Зосима возмутился:

— Ночевать на участке? Непорядок!

— Оставь, Зосима. Лучше притащи пацанам из дома подушки и чего еще.

Помедлив, добавил:

— Дела такие, что скоро все в цеху ночевать будем.

О делах мы узнавали из большого репродуктора, который висел под потолком посреди цеха и в начале каждого часа передавал сводки Информбюро. Разнообразием они не отличались: «После упорных боев наши войска оставили...», «С тяжелыми боями отошли...», «С большими потерями вышли из окружения».

Зосима сказал: «Во, видал, как шапками-то закидали!»

Алексеич сказал: «Ясное дело — предатели кругом, шпионы. Везде Мехлисы да Кагановичи, мать ихнюю перемать!»

Лазик сказал: «Не понимаете вы. Наше командование заманивает врага в глубь страны. Потом коммуникации перережет, фрицам и конец. Это тактика Кутузова, она себя еще в войне с Наполеоном оправдала».

Алексеич сказал: «Ишь, не понимаете! Зато вы все понимаете. От вас все беды идут. Недаром вас Гитлер ненавидит».

Зосима сказал: «Ладно тебе. Работать давай».

Тем временем сбылось предсказание Моисеича: все больше народа оставалось ночевать в цеху.

Первым притащил матрац на спецучасток Алексеич — трамваи ходить перестали, а таскаться пешком по морозу у него не было сил. Алексеич тут же согнал меня с верстака, но скоро ко мне на пол переселились Коля и Лазик — ночевать на участке остался и Зосима.

Пол был бетонным, неровным, к утру бока болели, словно после побоев. Но больше всего мешал спать Алексеич. Он то храпел во всю ивановскую, то со стоном переворачивался с боку на бок, то издавал трубные звуки, способные разбудить даже слона. Да и в туалете пробиться к умывальнику стало так трудно, что утрами мы часто становились к верстаку, даже не ополоснув лица.

Морозы, меж тем, крепчали. Снаружи окна заледенели, внутри на них повисли огромные сосульки замысловатой формы.

Однажды в эти самые лютые морозы кто-то постучал на участок:

— Ремесленников к Моисеичу!

Внутри защемило — неужели опять куда-то переведут?

В кабинете Каплана за столом хозяина сидел какой-то старичок, на усах которого еще не оттаяли сосульки. Моисеич стоял рядом и почтительно поглядывал на гостя:

— Ну что, все собрались? Так вот, — тихим, едва слышным голосом сказал старичок. — Привез я вам документ

от Григория. Важная бумага. Гриша пока ее не составил, не мог успокоиться. И с меня слово взял, что разыщу вас и передам документ в руки. Вот я и выполняю последнюю волю товарища. Зачитай-ка, — старичок протянул бумагу Моисеичу, — я что-то плохо вижу.

Моисеич подтянулся, откашлялся, читать начал громко и внятно: «Я, Гиршас Шахно Карнаухас, настоящим удостоверяю, что 21—24 июня 1941 года эвакуировал в Ленинград из пионерского лагеря “Литовский пионер” в городе Паланга пятнадцать подростков, проживавших в разных городах Литовской ССР». Следовали фамилии и имена пятнадцати наших ребят с датой и местом рождения каждого. И дальше: «Прошу считать настоящий документ основанием для выдачи перечисленным лицам советских паспортов». Завершали же бумагу две подписи. Первая — «Гиршас Карнаухас, член Компартии Литвы с 1934 года, подпольщик, связной Коминтерна, партийный псевдоним “Жорес”. Вторая — «Франц Нетушил, бывший член Исполкома Коминтерна, партийный псевдоним “Гусс”».

Моисеич кончил читать, перевел дыхание, задумался:

— Вот что, ребята, бумага важная, будем хранить ее в сейфе отдела кадров. Когда ситуация позволит, товарищ Кондакова займется вашими паспортами.

Да что нам паспорта! Гриша! Гриша стоял перед глазами. Что случилось, где он, как понять слова «последняя воля»?

— А так и понять — помер. С молодых ногтей боролся за советскую власть, себя не жалел, самые рискованные поручения выполнял. А однажды, скрываясь от литовской охранки, три дня в снегу пролежал. Когда до Москвы добрался, его сразу в госпиталь. Пришлось одно легкое удалить. Но и второе он не долечил: в Литву тогда пришла советская власть, Гриша из госпиталя сбежал, вернулся домой, встал в строй. Героем был ваш Григорий, героем. Вот с кого надо брать пример!

В голове помутилось, слезы потекли по щекам. Попытался было отвернуться, но тут увидел, что и другие ребята кулаками растирают грязь на мокрых лицах.

Моисеич велел нам возвращаться на рабочие места, Франтишека же распорядился отвести в столовую, накормить обедом на свою карточку.

Ночью мне приснился Гриша. Вот он, стоя на трибуне в пионерлагере, принимает рапорт Саввика. Лицо сосредоточенное, щеки впалые, нос, как у гончей: «Ты почему так плохо говоришь по-русски, — укоряет он Саввика, — это же язык Ленина и Сталина! Не стыдно тебе?» Тут откуда-то появляется Алексеич. Лицо его перекошено от злобы. Со словами «Получай, жиденок проклятый» — он замахивается на Саввика шабером. Но тут снова возникает Гриша. Спокойным движением, словно носовой платок, достает он из кармана блестящий браунинг: «Застрелю, как собаку». Раздается выстрел, я вскакиваю... это Алексеич испустил трубный звук.

Гриша приходил ко мне и на вторую ночь, и на третью, но потом приходиться перестал. Ко мне вообще никто больше не приходил. Время тянулось однообразно, один день походил на другой, одна ночь — на другую. Много позже я узнал, что этих самых дней и ночей было девятьсот, что называются они: «героическая блокада Ленинграда», и что мы, блокадники, совершили подвиг во имя победы над врагом. Но тогда мысль о подвиге в голову не приходила, дотянуть до обеда, пережить день — вот единственное, что меня заботило.

А дотянуть, пережить становилось все труднее. Экономил силы как могли. Даже сводки информбюро спускались слушать только в обед.

Лучше других держался Зосима. Сухой, жилистый, немногословный, он, похоже, не столько страдал от голода и тяжелого труда, сколько от отсутствия спиртного. На вопрос старшего «Там у тебя капелюшки не осталось?» Алексеич все чаще разводил руками. При всем том время

от времени Зосима складывал в мешок съестное — все, что оторвал от себя, — и отправлялся домой, «к старухе». Мы очень боялись за него. Боялись, что и мешок отберут и не дойдет, замерзнет по дороге. Но Зосима всякий раз возвращался. Вернувшись, он еще долго дрожал от холода, согревал руки на трубе отопления, отчаянно тер ими лицо, но, чуть придя в себя, тут же становился к верстаку.

Однажды случилось чудо — меня разбудил солнечный луч! Как он пробился сквозь обледенелое окно, как нашел меня под верстаком? Я сбросил телогрейку, зажмурил глаза и подставил лицо посланцу из космоса. Через минуту-другую посланец исчез. То ли спрятался за мартовские облака, то ли уже не попадал в щелочку между сосульками. Весь день я был в приподнятом настроении, подбадривал Лазика, помогал Коле и даже предложил Алексеичу сходить с ним в химлабораторию, где нам время от времени выдавали спирт «для протирки деталей».

Наступил апрель. Окна почти оттаяли, солнце все чаще заглядывало на участок, согревая не столько нашу мрачную обитель, сколько наши души. Зосима стал каждое воскресенье уходить домой, а вот Алексеич все не решался. Наконец собрался. Мы сложили ему в сумку все, у кого что было, он перекрестился и отправился в дальний путь. Вернулся Алексеич через три дня. На ногах он держался с трудом, лицо было черным, глаза опухшими. Оказалось, ни жены, ни матери он не нашел. От соседей узнал, что померли они не то от холода, не то от голода, не то от того и другого. Соседи только сказали, что замерзшие их тела подобрали и куда-то увезли.

Первые дни Алексеич не мог говорить, лишь подвывал и что-то бурчал себе под нос. Однако ж через какое-то время он пришел в себя, принялся за работу, а насчет спиртного стал проявлять еще больше рвения, чем прежде. Выпив, он теперь задавал нам с Лазиком один и тот же вопрос:

— Ну, как там ваши папашки воюют под Ташкентом?

Говорил он со столь серьезным видом, что в душу закралось подозрение — может, он неспроста, может быть, и правда всех евреев эвакуировали в Ташкент? Может быть, папа и мама живут там себе и даже не подозревают, что я здесь, в Ленинграде? Да и как они могут знать об этом? Вот получают от меня весточку — сколько будет радости!

Поделился своими соображениями с Лазиком.

— Врет все Алексеич, ничего он не знает. Ему, наверное, Ташкент приснился, вот он и долдонит с утра до вечера: Ташкент да Ташкент!

Не успел прийти в себя Алексеич, как несчастье случилось у Зосимы. Единственный его сын погиб в боях под Москвой. Зосима, в отличие от Алексеича, не раскис, рук не опустил, только разговаривать почти перестал, а чтоб улыбнуться, так теперь этого не случалось с ним даже после того, как опрокидывал он «по второй». Домой Зосима ходил все чаще, а однажды взял с собой и Колю. Потом снова взял. Потом стал брать каждый раз.

Лето стояло в разгаре, солнце часто заглядывало в наше окно, но в тот день светило особенно ярко. Коля с Лазиком возились внизу с постаментом, Алексеич отправился на поиски спиртного, мы остались вдвоем с Зосимой. Неожиданно он заговорил:

— Я вот тут того, ну как бы это... решил Кольку усыновить. Только ты не подумай чего такого. Я не потому вовсе. Ваши-то с Лазькой отцы рано или поздно отыщутся. То ли в Ташкенте, то ли где еще. А Колькин-то точно погиб. Он ведь в пограничных войсках служил, а пограничники все полегли. Мать его еще до войны померла. Теперь будет у меня жить.

Я растерялся, не знал, что и думать: радоваться за Колю или огорчаться? С одной стороны, — отец погиб, с другой, — его ведь в семью взяли! По поводу же «чего такого», так я об этом вовсе не думал, в висках стучало: «Ваши отцы рано или поздно отыщутся!»

В последних числах августа явилась на участок Катя Кондакова.

— Вот что, пацаны, есть решение парткома и дирекции организовать при заводе школу рабочей молодежи. Начальникам цехов дано указание в шесть часов отпускать учащихся с работы. Где будут проходить занятия, пока не знаю, но скажите-ка мне: кто из вас сколько классов окончил?

Катя долго пыталась понять, в какой класс нас следует записать, наконец махнула рукой — учителя разберутся! — записала наши фамилии в блокнот и исчезла.

Для занятий нам выделили Ленинскую комнату. Столов и скамеек там хватало, нам же оставалось соорудить доску и покрасить ее в черный цвет. Что до учителей, то все они были заводскими инженерами. Какие предметы проходят в том или ином классе, они толком не знали, так что поначалу всех разбили на три группы — старшую, среднюю и начальную. В начальную записали тех, кто едва умел писать и читать, в среднюю — тех, кто перед войной не успел закончить семи классов, в старшей оказались мы, «литовцы», да еще несколько демобилизованных солдат-инвалидов.

Высидеть на уроках было трудно — глаза слипались, уши не слышали, ручка выскользывала из рук. К тому же не было учебников и бумаги. Учителя раздавали нам нарезанные газетные листки, и те, кому доставался листок с большими полями, чувствовали себя счастливыми. Со временем, однако, занятия вошли в колею, учителя разобрались, кого в какой класс определить, где-то нашлись чернильницы, перья и потрепанные учебники. По два-три на класс.

Все шло хорошо, как вдруг Лазик перестал ходить в школу. Понятно, ему было тяжело. Но тяжело было и Коле, и мне, и всем остальным. Лазику, однако, было еще и скучно. Русский язык он знал отлично, на уроках ему нечего было делать, а вот физика и математика ему

не давались. На уроках он засыпал, получал от учителей взбучки и в конце концов решил, что больше в школу не пойдет.

Мы с Колей его уговаривали вернуться, Зосима неодобрительно качал головой, и даже Алексеич пробурчал:

— Тебе положено учиться, а то как в начальство пролезешь?

Лазик стоял на своем, тем более что нашел себе занятие «поважнее». Из кусков газет и картона он склеил карту, химическим карандашом вывел на ней Финский залив, Ладожское озеро и Неву, обозначил центр города, Петродворец, Пулковку и Ораниенбаум. Черным углем Лазик отметил немецкие позиции, красной ленточкой — наши, советские. Всякое изменение на фронте он торжественно отмечал на карте.

Изменения же эти происходили ежедневно. Они происходили, а мы радовались. Радовались победе под Сталинградом и Курском, кричали «ура», когда сообщили об освобождении Ростова и Харькова. Смущало одно: почему не спешат освободить Ленинград, когда, наконец, прорвут блокаду?

Алексеич сказал: «Во, жопы поганые, везде вперед идут, а у нас с места сдвинуться не могут!»

Зосима сказал: «Потому и идут, что мы на себе немца держим».

В январе сорок третьего блокаде, казалось, пришел конец. Репродуктор торжественно объявил, что войска таких-то и таких-то армий под командованием таких-то и таких-то генералов разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной. Все плакали, обнимали друг друга. Вскоре выяснилось, что коридор слишком узок и насквозь простреливается противником. Расширить же его не удалось, так как Верховное Главнокомандование «вынуждено перебросить часть войск на другие направления».

Прошел год, — целый год! — пока блокада наконец-то была снята. Как он прошел? Можно сказать — как один день, а можно — тянулся целую вечность. Что до работы, то ее я освоил, сдал на разряд слесаря и перестал числиться учеником. Научился я ладить и с Зосимой, и с Алексеичем и, что особенно важно, усвоил правило: если по цеху сломая голову носится Моисеич, лучше не попадаться ему на глаза! Но если все идет порядком, Моисеича можно не бояться. А вот старшего мастера Кирпичникова бояться надо всегда. Злой и высокомерный, он почему-то особенно не любил ремесленников. Не любили нас, слесарей, и мастера токарных участков — от них в любую минуту можно было схлопотать подзатыльник. Впрочем, я уже облазил все вокруг, знал каждый уголок цеха и мгновенно соображал, где можно спрятаться от начальства, а где и вовсе укрыться от всех глаз. Знал я в лицо каждую крановщицу, токариху и такелажницу, да и сам всем примелькался — удивленных взглядов на себе больше не ловил.

И все же, если вы спросите, стало ли мне легче на третьем году жизни в цеху, ответу — не стало! До обеда я еще держался, а уж после ноги таскал с трудом, работал через силу, а как высиживал на уроках и сам не понимал. Когда-то — ох, как это было давно! — бабушка запикивала мне в рот ложку сладкой запеканки и приговаривала: «Ешь, Бога ради, у тебя одна кожа и кости!» Нет, это не тогда, это сейчас у меня не было ничего, кроме костей и кожи.

И на душе легче не становилось. Ложился и вставал я все с теми же мыслями: не уменьшат ли завтра порцию супа и каши, сколько дадут хлеба, какая выпадет работа, какую гадость подстроит Алексеич? Ни о чем другом я не думал и думать не мог. Разве что, засыпая, каждый раз твердо решал — завтра устрою себе праздник, не пойду в школу!

Долгожданное свершилось — прорвали блокаду. Все радовались, обнимались и целовались. Моисеич собрал в

цеху митинг, сказал положенные слова и вытер платком слезы. Тут я впервые заметил, что он давно уж не тот грузный мужчина, с живыми, вращающимися, словно шарики, глазами, который в сентябре сорок первого определил меня учеником слесаря на спецучасток. Нос его заострился, щеки опали, лицо стало серым, потрепанный пиджак висел, словно на вешалке...

Плакал не только Моисеич, плакали женщины-токари и мужчины-ремонтники, плакали мастера и такелажницы, слесари и подсобники. А как только стемнело, все пошли на двор смотреть салют. Январский мороз пробирал до костей, ветер валил с ног, но люди стояли и упорно ждали, когда по небу в очередной раз разлетятся горящие гроздья. Когда же небосвод, наконец, вспыхивал, все кричали «ура!»

Жизнь начала меняться. Обеды в цех больше не приводили, нам выдали рабочие карточки, которые нужно было отоварить — толкаться в очереди, а потом самим устраиваться с кормежкой. А тут еще начались разговоры, что уроки будут проходить в здании какой-то школы. Я было расстроился, но переезд затянулся и учебный год сорок четвертого закончился на старом месте.

С ночевками в цеху тоже шло к концу. В марте, кроме нас, бывших ремесленников, никто там уже не ночевал. Да и нам все чаще говорили: пора вас перевести в общежитие. Разговоры разговорами, но мест в общежитии не было, нас с Лазиком оставили в покое, мы наслаждались простором и одиночеством.

Лафа кончилась неожиданно. Однажды на участке появился какой-то начальник в черном кожаном пальто и белых бурках. Сопровождала его целая делегация, в том числе и Моисеич. Полный, дородный, с сытым, лоснящимся лицом, начальник оглядел помещение, нахмурился:

— Это как так? Вы что, не понимаете, это же спецучасток, здесь секретные изделия идут, и чтоб какие-то пацаны тут ночевали? Безобразие!

— Куда же их деть, — извиняющимся тоном ответил Моисеич, — они эвакуированные, жилья у них нет, и в общежитии ни одного места. Даже для демобилизованных не хватает.

— Нет мест? Найти!

Команду выполнили — нас подселили в небольшую комнату в заводском общежитии, где с трудом помещались шесть коек. Койки, понятно, были заняты, место нам определили на полу.

Общежитие показалось мне адом: грязь и вонь стояли здесь невообразимые; окурки, тряпье, бутылки валялись, где попало. Двери в туалет не закрывались, многие окна были заколочены фанерой.

Да что там грязь и вонь! В общежитии царило воровство; оставить в тумбочке что-то из еды или одежды было невозможно, исчезало тотчас. Ночью ботинки нужно было либо положить под голову, либо вообще не снимать. Иногда и это не помогало, ботинки могли стянуть и со спящего. Но самое страшное — чуть ли не каждый день в общежитии случались скандалы и пьяные драки. Иногда дрались в комнатах, иногда в коридорах, а иногда прямо у входа. Если драка слишком уж затягивалась или сопровождалась поножовщиной, сторожиха бежала к телефону и вызывала военный патруль. Обычно драки затевали демобилизованные. Все они пришли на завод из госпиталей, все были израненные, больные и такие же бездомные, как и мы. Выпив, они начинали выяснять, кто из них настоящий герой, кто больше пролил крови за родину. Сначала в ход шла матерщина, потом — кулаки, потом — все, что попадет под руку. Когда такое случалось, мы с Лазиком забивались под кровать: попадись мы, салаги, не нюхавшие пороха, — разорвут в клочья!

Затишье наступало лишь в воскресенье. Отоспавшись после рабочей недели, соседи по комнате отправлялись кто куда: одни шли к своим барышням, другие — на барачолку, что-то продать или купить, третьи направлялись

прямоком в «американки» — пивнушки, где водку продавали в разлив.

Это случилось в воскресенье. Было 25 июня 1944 года. К полудню соседи по комнате разбрелись, мы остались с Лазиком и решили устроить воскресный обед. Сварили на примусе четыре картофелины, разделали полученную накануне в пайке селедку, наломали хлеба и, очистив стол от мусора, приступили к трапезе. Опасались мы одного — как бы кто из соседей не вернулся раньше времени. Все, однако, обошлось, пир мы благополучно завершили, а потом улеглись на чужие кровати. Поваляться на них было настоящим блаженством!

Не успел я, однако, толком устроиться, как услышал победный крик Лазика:

— Ура, газету нашел!

Лазик извлек из-под матраца свежую газету — кажется, это была «Правда» — и начал вслух читать одну статью за другой. В первой речь шла об успехах нашей армии, о том, какие города уже освободили, а какие вот-вот будут освобождены. Следующая рассказывала о событиях на Втором фронте. Тут уже Лазик не столько читал, сколько разглагольствовал о том, как пойдут дела у наших англо-американских союзников в Нормандии. При этом он то и дело спрашивал:

— Ты понял, ты согласен?

Я слушал невнимательно, отвечал невпопад — ужасно хотелось спать. Неожиданно Лазик умолк. Я было решил, что он обиделся:

— Читай дальше, я слушаю!

Лазик молчал. Я приподнялся и увидел, что он уткнулся в газету и, по всей видимости, даже не услышал, что я ему сказал.

— Ты что? Что с тобой? — я слез с кровати, подошел к Лазику.

— Это он.

— Кто — он? О чем ты?

Лазик протянул мне газету, ткнул пальцем в фотографию. Фото было из Вильнюса. По проспекту Гедиминаса нестройными рядами шли советские солдаты, а с трибуны какой-то человек приветствовал толпу встречавшего их народа. Подпись гласила: «Парад воинов-освободителей на проспекте Сталина в Вильнюсе».

С недоумением взглянул на Лазика — мы уже знали об освобождении Вильнюса, что его так поразило?

— Этот человек жил в нашем доме. В подвале.

— Может быть, тебе показалось, разберешь тут в газете!

— Это он. Ты думаешь, я его один раз видел? Да я с ним сто раз разговаривал. Он мне всякий раз говорил: «Подрастешь, вступишь в комсомол, будем новую Литву строить».

— Может, письмо ему напишешь?

Лазик помотал головой, лег и уткнулся лицом в подушку.

Почему Лазик отказывался написать человеку, которого укрывал его отец, я не понимал. То и дело принимался его уговаривать, но Лазик лишь огрызался. Дело дошло до ссоры. Мы перестали разговаривать.

Зосима сказал: «Ладно-те дуться друг на друга. Родину вашу вот-вот освободят, домой поедете. Чего тут дуться!»

Алексейч сказал: «Чё, чё? Видать, денег не поделили».

Однажды, оставшись наедине с Зосимой, я не выдержал и рассказал ему историю с Секретарем. Зосима выслушал меня внимательно, отложил напильник:

— А ну, зови Лазьку.

Зосима сказал:

— Пойдешь со мной, — и потащил Лазика к Моисейчу. Моисейч историю выслушал, сказал:

— Пойдешь со мной, — и потащил Лазика в партком.

Там историю выслушали, сказали:

— Наведем справки, дадим знать.

Прошел первый месяц, пошел второй. Лазик ходил хмурый, ни на кого не смотрел, ни с кем не разговаривал. Он очень боялся, что ответа вообще не будет, и тогда все решат, что он просто врун и трепач. Виновником всего Лазик считал меня. Я и сам чувствовал себя виноватым и готов был молить Бога, чтобы хоть какой-то ответ все же пришел.

Был поздний августовский вечер. В общежитии, как обычно, стояли шум и гам: кто-то резался в карты, кто-то храпел на кровати, а кто-то наигрывал на разбитой гитаре. От махорочного дыма першило в горле, резало глаза. Я открыл окно, делая вид, что наслаждаюсь зрелищем ночного города. В действительности я ждал, когда все угомонится и можно будет лечь спать.

Неожиданно дверь в комнату распахнулась. На пороге, заложив руки за спину, стояли двое мужчин в одинаковых серых макинтошах и таких же серых шляпах. Галдеж мгновенно прекратился, все застыли на своих местах. В первое мгновение я было решил, что заснул и вижу во сне фильм о чикагских гангстерах:

— Кто здесь... Лазарь Левитас? — спросил один из вошедших.

Тишина стояла мертвая, слышно было жужжание мух.

— Вы что, глухие, кто из вас...

Бледный, с дрожащими руками, Лазик поднялся из своего угла.

— Собирай вещи, поедешь с нами.

Собирать было нечего, Лазик прихватил телогрейку, сетку с какими-то мелочами и побрел к выходу.

Дверь захлопнулась с такой же силой, что и открылась.

— За что его? — все взгляды устремились на меня.

Я молчал, не в состоянии произнести ни слова.

— Раз взяли, значит, есть за что, — ответил кто-то за меня.

Еще через месяц на участок зашла Катя Кондакова. Я был один.

— Подождите немного, Зосима Петрович сейчас придет.

— Мне не Зосима, а ты нужен, — Катя протянула большой конверт.

Письмо было от Лазика. На пяти листах линованной бумаги Лазик писал, что его из общежития отвезли на вокзал и в сопровождении сотрудника НКВД отправили в Вильнюс. Там его прямо с поезда привезли к Секретарю. Секретарь его обнял, сказал:

— Родители твои погибли, теперь я буду тебе отцом.

Он же, Секретарь, распорядился создать комиссию по расследованию преступлений фашистских захватчиков и особо потребовал выяснить обстоятельства гибели нескольких человек, в том числе отца Лазика и моих родителей. Очень скоро ему доложили: после того как советские войска ушли из Каунаса, а немцы туда еще не вошли, литовские фашисты начали хватать евреев прямо на проспекте Витаутаса, загнали их в гараж и там насмерть замучили. В числе убитых оказался и отец Лазика, бывший консул Литвы во Франции, скрывавший в подвале своего дома будущего Секретаря. Мать Лазика отправили в Девятый форт Каунасской крепости, где и расстреляли в декабре 1943 года.

Что до моих родителей, то комиссия выяснила, что в сентябре сорок первого их выселили из квартиры на Басанавичюс и отправили в гетто. Там они теснились в малюсенькой комнате на улице Стиклю, но в январе сорок второго после очередной акции они оттуда исчезли. Кто-то видел, как их увозили в Панары, откуда никто не возвращался.

Что такое Панары, я не знал, попытался было перечитать эти строки, но тут письмо выпало из рук. Потянулся, чтобы его поднять, но оно почему-то ускользало и ускользало. Что было дальше, я не помню, помню только, как Зосима с Колей держали меня за руки и вливали мне в рот обжигающую жидкость. Дыхание перехватило, я стал лихорадочно глотать воздух.

— Ничего, ничего, сейчас полегчает, — услышал я голос Зосимы.

И верно, дыхание восстановилось, я пришел в себя и стал соображать, что же это происходит, за что меня мучают? Тут взгляд упал на большой желтый конверт, который только что вручила мне Катя Кондакова. Горло снова перехватило, брызнули слезы — я едва успел закрыть лицо руками.

— Ты вот что, иди-ка домой, — скомандовал Зосима. — На проходной скажешь, мастер отпустил. Отоспишься, завтра придешь.

Я вытер щеки рукавом, еще немного посидел, взял письмо и побрел в общежитие. Не раздеваясь, завалился на чужую кровать.

Проснулся я поздно, когда все ушли на работу. Проснулся и обнаружил, что с кровати меня не согнали, ботинки не сняли и даже укрыли одеялом. Я протер глаза, сел, взглянул на стол. На нем лежали заляпанные линованные листки и... полбуханки хлеба, посыпанной крупной солью.

### *Глава третья*

Декан сказал: «Нет, нет, этого парня зачислять не будем. У него же тройка по сочинению! Будь он еще фронтовик, куда бы ни шло...».

Профессор сказал: «Но ведь он блокадник, из рабочих, всю войну на Металлическом заводе проработал».

Декан сказал: «Хорошо, отложим вопрос до сентября. Посмотрим, сколько у нас наберется фронтовиков, тогда и решим».

Второе письмо от Лазика пришло через две недели. О моей сестре узнать ему ничего не удалось. Правда, комиссия, которую создал Секретарь, установила, что еще в ав-

густе сорок первого гитлеровцы устроили в районе Слободки гетто, куда согнали всех евреев Каунаса. А уж оттуда их партиями увозили в сторону старой крепости и там расстреливали. «По всей видимости, — писал Лазик, — твоя сестра погибла в том самом Девятом форте, где до войны была тюрьма».

Прошло почти сорок лет, прежде чем мне в руки попал дневник, найденный во время ремонта какого-то дома в районе Слободки. Автор его, должно быть, погиб вместе с другими обитателями гетто, тетрадки же каким-то чудом сохранились. Медленно, стараясь не пропустить ни одного слова, читал я пожелтевшие страницы, надеясь: а вдруг! Я прочел уже больше половины, надежды на «вдруг» совсем было растаяли, как... «14-го августа. Сегодня утром к воротам гетто пригнали толпу людей. Там две женщины отставали. Одна — совсем молодая, зеленоглазая блондинка — вела под руку старушку. Старушка, сухонькая, дряхлая, едва волокла ноги. Охранник увидел красавицу и хлоп ее по заднице — а ну шевелись! Та развернулась и отвесила ему пощечину. Охранник сначала растерялся, потом поднял ружье и выстрелил. Девушка упала замертво. Старушка пошатнулась и тоже упала. Охранник подошел и снова выстрелил. Люди идут, а они лежат. Так до вечера и лежали...»

О Жанне Лазик ничего не писал, а вот свое житье-бытье расписал подробно. Семья Секретаря занимала большой дом в центре, который этот постоянно охранялся. Выйти в город без сопровождения Лазик не мог, но зато у него была своя комната, своя кровать, свой шкаф и свой письменный стол! Нового отца он видел редко — тот много работал и часто уезжал. Тем не менее Секретарь о Лазике не забывал и, как только тот откормился и поздоровел, поставил перед ним задачу — готовиться к школе. Однажды он даже взял Лазика с собой и отвез его к костелу Святого Казимира, где пленные немцы расчищали завалы вокруг бывшей польской гимназии. «Вот сюда я тебя и запишу, —

сказал Секретарь, — но учиться ты должен так, чтобы не опозорить мое имя!»

Следующее письмо Лазика было коротким и наставительным: «Не раскисай, старик. Ну что ты заладил: где Илона, где Жанна, где родители? Ясно, погибли они. Хоть с утра до вечера причитай, все равно никого не вернешь. А нам жить, строить будущее. Подумай сам, какие перспективы перед нами открываются. Нацистские полчища мы разгромили? Разгромили! Страну освободили? Освободили! Еще немного — и поставим Германию на колени, изгоним из нее нацистов, и власть там перейдет в руки пролетариата. Тогда нападать на нас никто не будет, и мы построим такое общество, где каждому человеку открыты все пути-дороги».

У меня украли телогрейку. Ту самую, которую когда-то выдали в ремеслухе. Телогрейка была потеряная, всюду штопаная, да и грела едва-едва. Дело, однако, шло к зиме — как без нее?

Нет худа без добра. Вышел однажды утром из общежития, прошел полквартиры, и тут в меня вцепился какой-то пьянчужка:

— Купи шинель, за бутылку отдам.

В одной рубашке, босиком, он трясушимися руками сует мне шинель и все повторяет: купи да купи! Смотрю, шинель, черная, железнодорожная, почти новая.

— Ворованная? — спрашиваю.

— Моя! Во те крест — моя!

В другое время не задумываясь прошел бы мимо, но тут ноги сами понесли в общежитие. Заглянул в одну комнату, в другую, обменял карточки на деньги, выбежал, сунул их забулдыге. Тот мгновенно исчез, а я надел шинель. Она была мне широка и коротковата. Но какое это имеет значение — у меня есть шинель!

Между тем, сосед по комнате завел себе зазнобушку и стал частенько уходить на ночь. Хлопнет, бывало, утром по плечу:

— Я сегодня не приду, можешь спать у меня.

Вечером я устраивался на его койке, заворачивался в шинель и спал как убитый.

В середине сентября на участок пришла Катя Кондакова:

— Вот что, пацаны, занятия в вечерней школе начнутся в октябре. В начальные классы недобор, а в старшие — отбоя нет. Но вас я записала. Так что смотрите мне — не сачковать. Запомните, стране нужны квалифицированные кадры, инженера! С работы будете уходить в шесть, я вам пропуска выпишу. А от воскресников не освобождаю — чтоб являлись мне, как штык!

Утром к зданию школы, которое чудом уцелело во время бомбежек, со всей Выборгской стороны стекались дети, тоже чудом выжившие во время блокады. Дети занимались в две смены, а потом наступала наша очередь, вечерников. Конечно, мы едва держались на ногах, кто-то, не переставая, зевал, у кого-то заплетался язык, у кого-то закрывались глаза. Однако ж слабаки да лодыри скоро отсеялись, но те, кто остался, вызывали у меня восхищение. Я смотрел на них, и мне становилось стыдно. Да, я — сирота, но ведь вокруг столько сирот, бездомных и беспризорных ребят! У меня есть работа и крыша над головой, я получаю рабочую карточку и все же не пухну с голода! Да, Лазик прав: нельзя без конца мучить себя прошлым, надо брать пример с этих ребят, надо изо всех сил учиться, чтобы стать инженером!

Профессор сказал: «И все же, думаю, этот парень — тот случай, когда мы можем сделать исключение. Ведь у него и по физике, и по математике пятерки. К тому же, он в школе занимался радиоделом. А что в сочинении накуролесил — разволновался, наверное».

Декан сказал: «Самодетельностью заниматься не будем. Есть инструкция из парткома: по сочинению чтоб было не меньше четверки. Исключения предусмотрены только для фронтовиков и участников войны. О блокад-

никах ничего не сказано. Вот... если ко второму сентября выяснится, что все фронтовики прошли, тогда будем думать».

Слово «сентябрь» наводило на меня ужас.

В мае, сразу после того, как прогремел салют победы, меня вызвали в военкомат. Вместе со всеми разделся догола, прошел в большую комнату, где измеряли рост, взвешивали, прослушивали легкие, заглядывали в рот, спрашивали: «На что жалуешься?» Потом всем велели одеваться и ждать. Через какое-то время начали по одному выкликать в кабинет военкома.

Назвали мою фамилию. Я вошел, сказал «здравствуйте» и встал у двери. За столом сидели три человека: военком — молодой капитан, увешанный орденами, круглощекая женщина-врач с фонендоскопом на шее и пожилой мужчина в гимнастерке без погон. Военком читал какую-то бумагу, но при слове «здравствуйте» поднял глаза.

— Что стоишь? Проходи, садись. В Каунасе, значит, родился? Как в Ленинград попал?

— Нас эвакуировали.

— Эвакуировали? Как успели?

— Меня не из Каунаса, а из Паланги. Я в пионерлагере был. Когда бомбежки начались, нас пионервожатый на баркас посадил, и мы в Ленинград приплыли.

— Из Паланги в Ленинград? На баркасе? — военком недоверчиво покачал головой. — Сколько дней плыли, где заправлялись?

— Четыре дня плыли, а где заправлялись, не знаю. Наш пионервожатый все места знал, он раньше был связным Коминтерна.

— Коминтерна, говоришь. Как фамилия?

— Карнаухас его фамилия. Он в блокаду умер, но у нас на заводе бумага есть.

— Ладно, с этим я разберусь. Ты мне скажи, чего это ты такой тощий? Рост 175, а веса всего 49 кегэ! У него что,

старший лейтенант, — военком обратился к женщине в белом халате, — дистрофия?

— Алиментарная, в сухой форме. И сильный авитаминоз. У всех блокадных детей одно и то же.

Военком задумался, потом повернулся к мужчине без погон.

— У вас вопросы есть?

— Где родители проживают?

— Погибли.

— Где, при каких обстоятельствах, справка есть?

— В Вильнюсе. В сорок первом или сорок втором. Справки нет.

— Так. Значит, остались на оккупированной территории. И справки о смерти нет? М...м, да!

Какое-то время все молчали, потом военком закрыл папку, отложил ее в сторону:

— Вот что, парень, сейчас я тебя не возьму. Иди, и чтобы за лето набрал вес. В сентябре пойдешь служить.

Слова «пойдешь служить» всякий раз звучали в ушах и заставляли после работы тащиться в школу. Они же помогали вечером в общежитии, когда, устроившись в углу большого грязного стола, где кто-то пил, а кто-то закусывал, я делал домашнее задание.

Армия страшила меня вовсе не потому, что я боялся погибнуть. Я даже не думал об этом. Но историй из армейской жизни наслушался предостаточно и хорошо представлял, что ждет меня в каком-нибудь заштатном гарнизоне в Сибири или в Средней Азии. С другой стороны, слова «студент», «политехнический институт», «инженер» приподнимали меня над землей и уносили далеко-далеко от завода, от общежития, от всей моей каторжной жизни в голубую, заоблачную даль.

И вот теперь все кончено, страдания оказались напрасными, мечты — несбывшимися. В сентябре меня вызовет

красавчик-военком и скажет своим мягким баритоном: «А ну, парень, иди-ка служить!»

А как хорошо все начиналось! Первого августа нас, абитуриентов, собрали в большой аудитории писать сочинение. Пожилая дама с орденом на лацкане пиджака вскрыла конверт и зачитала темы. Не долго думая, решил писать о Пушкине, о свободе, о родине. Через какое-то время обратил внимание на завистливые взгляды соседей. В чем дело? Ах, вот оно что! Ребята и девчата, что сидели справа и слева от меня, изо всех сил дышали на озябшие руки, а потом потирали ими замерзшие носы: в аудитории, которую не обогревали все блокадные годы, было холодно, словно зимой. Мне холодно не было, на мне была шинель!

Оценок за сочинение нам не объявили, но те, кто получил не ниже тройки, допускались к сдаче следующих экзаменов.

Три задачи по математике я решил быстро и тут же положил их на стол экзаменатора. Хмурый, чем-то озабоченный мужчина средних лет пробежал глазами мои листки, красным карандашом проставил галочки возле каждой задачи, задал два вопроса, написал сверху «Отлично», сказал: «Идите».

Письменный экзамен по физике показался мне настолько легким, что я даже заподозрил подвох. Опасения мои рассеялись, когда я сел отвечать устную физику. На экзаменационном столе лежала моя письменная работа, причем сверху красными чернилами тоже было написано «Отлично». Однако тут-то мне и устроили настоящую трепку.

Экзаменовали меня две женщины. Одна пожилая, полная и... немного лысая. Я никогда не видел лысых женщин, и этот вопрос занимал меня больше, чем те, которые задавала вторая дама — молодая красивая особа с лисой через плечо. Вопросы ее были простыми: «Радиус Земли?», «За-

кон Ома?», «Правило буравчика?». Я отвечал не задумываясь, она пыталась зацепить меня вновь и вновь, пока, наконец, не успокоилась:

— У меня все.

Тут вступила пожилая. Глядя на меня в упор своими умными глазами, спросила вкрадчиво:

— Скажите, что случится, если в металлическую трубу, стоящую на земле и до верха наполненную водой, ударит молния?

Я стал лихорадочно соображать, что же произойдет с водой, и, в конечном счете, решил, что она закипит.

— Неверно, идите и думайте. Завтра к двенадцати часам придете на собеседование к профессору Цареву и дадите ему другой ответ.

К Цареву я явился с несколькими ответами. Он выслушал, рассмеялся, сказал, что все они интересны, но верен один — металлическая труба сожмется, вода фонтаном выплеснется из трубы.

Профессор спросил меня, чем я занимаюсь на заводе, почему решил поступать на радиотехнический факультет. Я сказал, что учился в ремесленном училище, на заводе работаю слесарем, а радиodelом занимался в гимназии, в Вильнюсе.

Завод и ремесленное училище Царева не заинтересовали, а вот услышав о Вильнюсе, он оживился. Кто был моим преподавателем физики? Не слышал ли я фамилию такую-то и такую-то? Я отвечал, он все больше оживлялся, потом встал из-за стола, заложил руки за спину и стал расхаживать по кабинету:

— Что ж, молодой человек, я вижу, вы пришли к нам не случайно. Именно такие студенты мне и нужны. Только скажите, почему это у вас за сочинение тройка, вы что, не любите литературу?

Я чуть не подскочил на месте — тройка за сочинение!

— Почему же не люблю?

— Это вам лучше знать почему. Вот, — Царев вернулся к столу, открыл какую-то папку, — тут так и написано: «Орфографических ошибок не допущено, тема «Влияние творчества Пушкина на советский патриотизм» не раскрыта. Удовлетворительно». Это почему же вы так?

— Не знаю, мне казалось, я так много написал о Пушкине...

— О Пушкине — это хорошо. Но нельзя забывать и современность. Пушкин и современность — это ведь тоже очень интересно. Ладно, — Царев помедлил, поправил очки и затем энергично поднялся со стула, — идем к декану, будем говорить. Он человек новый, его недавно прислали на укрепление. Заодно и посмотрим, что он за птица.

Из кабинета декана профессор вышел, словно из парной. Лицо его было багровым, взгляд — растерянным, на лбу проступили капельки пота. Царев вынул платок, снял очки, вытер лоб, глаза, щеки. Потом кивнул мне, и мы направились вдоль коридора к выходу. Царев шел медленно, смотрел в никуда, то и дело повторял: «Ну и ну! Ну и ну!» Наконец он вспомнил обо мне:

— Вы-то не расстраивайтесь, вас это не касается.

Высокого роста, с тщательно выбритым лицом, сидящей шевелюрой, очками на носу и неременной стопкой журналов под мышкой, Виктор Георгиевич Царев производил впечатление человека, живущего где-то на облаках. В то же время хорошо сшитый пиджак, рубашка с накрахмаленным воротничком, галстук в красный горошек, равно как и красные запонки в золотой оправе, говорили о том, что он совсем не так равнодушен к делам земным, как это могло показаться на первый взгляд.

Импозантной внешности соответствовала и репутация Царева. Выпускник Ленинградского политеха Царев считался крупнейшим авторитетом в области радиотехники. Во время войны он работал в секретной лаборатории, со-

здал там первый в стране радиолокатор дальнего обнаружения, благодаря которому командование узнавало о приближении вражеских кораблей, когда те находились еще далеко-далеко от наших берегов. Царев пользовался большим авторитетом в Наркомате боеприпасов и в штабе Ленинградского фронта, его заявки на людей и оборудование удовлетворялись безотказно. Говорили, будто ему однажды звонил сам Сталин. Звонил ему Сталин или не звонил, никто точно не знал, тем не менее Царев числился в неприкасаемых: в секретной лаборатории ему прощали и дворянское происхождение, и неосторожные высказывания в адрес начальства, и скандальные связи с дамами. А уж в Политехническом институте, где он заведовал кафедрой электровакуумных приборов, ему кланялись издали, всякое его пожелание считали законом. И вдруг ему, Цареву, отказывают в такой мелочи, как прием какого-то студента!

И кто отказывает!

Бондаренко был полной противоположностью Цареву. Моложавый, шуплый, он держался прямо, говорил медленно, с достоинством, так, будто каждое свое слово ценил на вес золота. Глаза у него были маленькие, блестящие, с хитринкой. С хитринкой же он и одевался. В те послевоенные годы одежда у людей была либо «гражданская», либо «военная». «Военную» — шинели, гимнастерки, сапоги — носили те, кто вернулся с фронта. Пиджаки, галстуки и бурки, отделанные кожей, носили начальники. Бондаренко же носил застегнутый на все пуговицы полувоенный френч, брюки навыпуск и бурки. По всей видимости, это должно было означать, что человек он одновременно и гражданский, и военный, и героический, и начальственный.

Какое отношение Бондаренко имел к радиотехнике, никто не знал. Известно было, что до войны он учился в Сельскохозяйственной академии в Житомире, во время войны находился на «ответственной» работе в Куйбыше-

ве, а по ее окончании оказался в числе тех, кого прислали в обезлюдевший Ленинград «на укрепление кадров». Горком партии направил укрепленца в Политехнический институт, а уж партком института назначил его временно исполнять обязанности декана радиофака. Временно — потому, что с дипломом у Бондаренко была какая-то неясность. Точнее, диплома не было, подтвердить его существование он не мог, так как архивы Житомирской сельхозакадемии сгорели вместе с самим этим учреждением. Разрубить гордиев узел мог лишь Ученый совет института, где решающее слово принадлежало Цареву и таким же, как он, ученым мужам.

Судьба Бондаренко должно была решаться первого сентября, моя — второго.

Но разве мог я знать, что и моя судьба решалась не второго, а первого сентября? Разве мог я знать, что в обмен на поддержку на Ученом совете Бондаренко «пойдет на встречу» Цареву и зачислит меня в студенты? Разве я мог знать, что отношения между Царевым и Бондаренко выльются в острую, безоглядную вражду, заложником которой мне суждено стать на долгие годы!

А пока что я, обнаруживший свою фамилию в списке принятых в институт, на всех парах мчался на завод поделиться радостной новостью. Но только перешагнув порог спецучастка, как тут же стушевался, почувствовал себя неловко: я теперь студент, а Коля? Несправедливо как-то!

— Вот видишь, Коля, чёрт оказался не так страшен, как его малюют. Начинай готовиться. Уж ты-то, наверняка, поступишь в любой институт, куда только захочешь!

Алексеич сказал: «Не трожь Кольку. Он — наша, рабочая косточка, ему ваши штучки не нужны».

Зосима сказал: «Давай, Николай, доставай. Выпьем за парня».

Коля проворно нырнул в шкаф, умело разлил мутную жидкость, привычным движением опрокинул кружку и вытер рукавом рот...

Катя Кондакова поздравила меня официально и от души. Выдала трудовую книжку, разрешение еще три месяца жить в общежитии, а напоследок сильно, по-мужски, пожала руку:

— Только смотри, парень, чтоб на завод мне вернулся! Завод из тебя человека сделал. Хоть и с дипломом, без завода ты — никто!

Как прошли первые студенческие годы, что изменилось в моей жизни? Можно сказать, изменилось все, а можно — ничего. Во всяком случае, получив вожеленное звание студента, я отнюдь не перестал чувствовать себя загнанным, вечно голодным, никому не нужным и не интересным. Вставать, как и прежде, приходилось засветло и, чуть ополоснув лицо, мчаться на лекции. Проходили они в больших и холодных аудиториях. Руки мерзли, держать ручку отказывались. Конспекты от этого пестрели пробелами, восполнять которые из учебника было невозможно, ибо за ними, учебниками, нужно было записываться в очередь, которая подходила как раз тогда, когда они становились не нужны.

Что до студенческого общежития, то оно мало отличалось от прежнего, заводского. И хотя драк с поножовщиной здесь не было, по части беспорядка и воровства студенты рабочему люду не уступали.

Главное же разочарование состояло в том, что никакой романтики в новой жизни не оказалось, никакого студенческого братства не сложилось. С первых дней стало ясно, что наша группа состоит из двух. В одной — взрослые парни, прошедшие армию, комсомольскую или партийную работу. Из их числа декан назначал старосту, комсорга и другое начальство. «Старики» держались вместе, вместе же селились в общежитии, притом вольготно, вчетвером. У стариков всегда были учебники, ватман и миллиметровка. Зачеты и экзамены им разрешали пересдавать по несколько раз, за пропуски занятий не наказывали, от воскресников освобождали.

Другую половину составляли те, кого старики называли «салагами». Это были ленинградские ребята, пришедшие в институт со школьной скамьи. Жили они дома, с родителями, в институт являлись только на занятия. Стариков салаги побаивались, избегали, но и друг к другу особого интереса не проявляли. Дальше того, чтобы обменяться конспектами или учебниками, дружба не шла.

Была в нашей группе и одна девочка. Некрасивая, с нелепо торчащими косичками, она тем не менее никакими комплексами не страдала, всегда улыбалась и не упускала случая посмеяться. Смех же ее был на редкость заразительным. К тому же училась она лучше других, и старики, не скрывавшие презрения к нам, салагам, к ней относились благосклонно, частенько ей покровительствовали.

Поначалу девочка эта показалась мне существом неинтересным: ну что это такое — по всякому поводу хихоньки да хахоньки! Через какое-то время, однако, ее веселый нрав начал казаться мне привлекательным, я перестал замечать ее жидкие косички, пухлые щеки и угловатую походку, а все чаще обращал внимание на ее выразительные глаза и изумительно белую кожу лица.

Всеобщая любимица в мою сторону не смотрела.

Тройка за сочинение на приемных экзаменах лишила меня стипендии. Конечно, тройка была не у меня одного, но троечники-старики писали заявления декану, указывали на свои заслуги и, в конечном счете, стипендию получали. Я же не был ни фронтовиком, ни участником войны, ни даже комсомольцем. К тому же я хорошо помнил наказ Царева: «Если хотите удержаться в институте, старайтесь не попадаться на глаза Бондаренко». Я и старался.

Сентябрь и октябрь я еще как-то протянул — то тут, то там удавалось подработать, но в ноябре почувствовал, что силы мои на исходе. Особенно тяжело давались мне воскресники, где нас, студентов, заставляли разбирать зава-

лы, таскать рельсы, поднимать носилки с цементом на пятый, шестой, а то и десятый этаж.

Это случилось на воскреснике. Правда, что именно произошло, я не помню. Помню только, как носилки выскользнули из рук, как сам я полетел куда-то вниз. А уж потом помню, как в сопровождении свиты врачей и сестер в больничную палату вошел главврач, крупный мужчина с решительным лицом и густыми бровями, торчащими поверх очков. Главврач подходил к больным, расспрашивал, давал указания.

Дошла очередь и до меня:

— Ну-с, что у нас здесь?

— Студент... носилки... упал... сотрясение...

— И этот скелет таскал носилки с цементом? Ты что же, парень, такой тощий? Не ешь? На кино экономишь или стипендии не хватает?

— Не получаю я стипендии.

— Это почему же не получаешь?

— Тройка у меня.

— Так что, родители недостаточно подбрасывают?

— Нет у меня родителей.

— Как? Один, без родителей и стипендии не получаешь?

Я утвердительно кивнул и тут же почувствовал острую боль в затылке. Дальше я разбирал только отдельные слова. «...Родители у парня в блокаду погибли... стипендии не дают... вот я им покажу!»

Свое слово главврач сдержал. Во всяком случае, когда через две недели я появился в институте, ко мне подошел староста и процедил сквозь зубы:

— Пиши заявление на стипендию.

Земляк и любимец декана, он смотрел на меня как солдат на вошь.

Наконец-то пришло письмо от Лазика. Письмо было из Москвы.

Еще в июне Лазик закончил Первую мужскую гимназию — ту самую, что за костелом Святого Казимира, но продолжать учебу в Вильнюсе не стал, а поехал в Москву и поступил на юридический факультет Московского университета. Точнее, не поступил, а был зачислен по квоте для представителей союзных республик. Лазик всем был доволен: и самой столицей, и жизнью в «представительстве» — здании бывшего Литовского посольства, и учебой, которая ему давалась «левой ногой». Но более всего Лазик восхищался своими сокурсниками: «Ты представляешь, старик, у нас на курсе сын министра, дочь секретаря обкома, внук маршала... Живем весело, каждое воскресенье у кого-то на даче жарим шашлыки и танцуем под патефон. Только я никого не могу пригласить — папаша денег дает в обрез и все время требует отчета: какие экзамены сдал, какие отметки получил, на что деньги потратил? На ноябрьские праздники заставил меня ехать домой и не разрешает остаться в Москве на зимние каникулы».

Бодрый тон Лазика заставил и меня взять оптимистическую ноту. Жаловаться я не стал, написал, что у нас, в Ленинградском политехе, все делается на высшем уровне: лекции читают профессора с мировыми именами, студенты все как один — гении, заниматься интересно, а если чего и не хватает, так это тетрадок и ручек.

Безобидная жалоба возымела неожиданный результат. Пришел он по почте в виде бумажного пакета, обвязанного бечевкой и запечатанного сургучом. В пакете лежали три толстые тетради и несколько ручек и карандашей. И главное — новинка: шариковая ручка. Тоненькая пластмассовая палочка, из которой торчал стерженек с шариком. Из стерженька сама собой вытекала тягучая жидкость, пачкала все вокруг и, прежде всего, пальцы тех, кто брал ее в руки. Диковинка всех в группе заинтересовала, но больше всего нашу отличницу:

— Вот здорово! Пишешь, пишешь, а чернила все не кончаются.

— Возьми себе, — сказал я, обрадованный, что сумел хоть чем-то ее заинтересовать.

— Больно надо! — отличница фыркнула, бросила ручку на парту, тряхнула своими косичками и гордо удалилась.

Перемены в моей жизни начались на третьем курсе. Точнее, это произошло летом 1947 года.

Весенняя сессия подходила к концу, впереди были каникулы, которые я решил использовать, чтобы заработать на новый пиджак и брюки. Неожиданно меня пригласил профессор Царев:

— Чем собираетесь заняться во время каникул, молодой человек? Уезжаете куда-нибудь?

— Остаюсь в Ленинграде, буду искать работу.

— Превосходно, я как раз и хочу предложить вам работу. Мне выделили помещение под лабораторию. Раньше там было бомбоубежище. Теперь его перестраивают солдаты из стройбата, но оборудовать мастерские и лаборатории мы должны собственными силами. Для этого я намерен привлечь наших сотрудников и студентов. Подключайтесь, поучаствуйте в создании лаборатории, к тому же, какие-то денежки заработаете.

Я тут же согласился и никогда об этом не пожалел. Конечно, тем летом я выполнял лишь черную работу: таскал столы и шкафы, навешивал лампы, прибывал полки, выносил мусор. Но в конце концов, чем именно я занимался, значения не имело. Важно было другое — на моих глазах и при моем участии мрачный запущенный подвал-бомбоубежище превращался в научную лабораторию, с мастерской, стеклодувной комнатой, фотолабораторией и даже с собственным залом заседаний! Еще важнее — в те дни начал складываться ее коллектив. В подвал то и дело спускались сотрудники Царева: молодые и пожилые, спокойные и темпераментные, они что-то сверяли по чертежам, о чем-то советовались или спорили. А я? Я с удивлением наблюдал: когда разговор заходил о деле, всякая суборди-

нация исчезала. Молоденький ассистент мог бросить солидному доценту:

— Что это вы придумали! В этом шкафу будут храниться сосуды Дюара, устраивайте ваши баллоны в другом месте!

Начинался спор, и оба... обращались ко мне:

— А вы как думаете?

В нашем «подвале» все были равны!

Исключение составлял профессор Царев. Он являлся в лабораторию с величественным видом, чаще всего в сопровождении свиты, но при этом все подмечал, вникал во все подробности, интересовался разными деталями и мелочами. Замечания же делал только по существу:

— Ну что ж это вы, господа-товарищи, рентгеновский аппарат направили на соседнюю комнату? Вы что, хотите коллег облучить? Одно из двух: либо обейте стенку свинцовым листом, либо перепланируйте все так, чтобы никого не облучать.

С Царевым не спорили, к его замечаниям, даже сделанным на ходу, внимательно прислушивались, старались учесть их в деле.

Работа в лаборатории продолжалась до позднего вечера, потом я шел в обезлюдевшее общежитие, а утром снова отправлялся в подвал. Дни летели так быстро, что я и не заметил, как подошли к концу каникулы. Окончание их отметил походом на барахолку, где купил брюки и рубашку. Пиджак оказался мне не по карману.

Первого сентября в институте царило оживление: студенты собирались в коридорах, в фойе, на лестничных клетках, шутили, смеялись, рассказывали о том, как провели каникулы. Такое можно было увидеть везде, но не на нашем факультете. «Болтаться в коридорах и мешать занятиям» Бондаренко запретил письменным приказом, старостам и комсоргам дал указание «пресекать разговоры на посторонние темы».

Постные физиономии стариков-начальников вернули меня на землю, где нужно было ходить на лекции по марксизму-ленинизму, посещать «факультативные» политзанятия, бегать с противогололом и смотреть, как староста, демонстрируя свою власть, отмечал в журнале каждое опоздание. Снова начались воскресники, ночные бдения с переписыванием конспектов, бесконечные зачеты и контрольные.

Неожиданно встретил в коридоре Царева:

— Что это вы пропали, молодой человек? Валерия Сергеевна на вас рассчитывает. К тому же скоро на кафедре начнутся семинары, думаю, вам будет интересно. Так что приходите.

Валерия Сергеевна была той самой молодой дамой, которая когда-то принимала у меня вступительный экзамен по физике. Позже я сдавал ей зачеты и всегда удивлялся, что она каждый раз ставила мне отлично. Ларчик открывался просто. После первого же знакомства со студентами Валерия Сергеевна составляла мнение о каждом: этот — сильный, этот — средний, а этот — слабак. Сильные почти автоматически получали у нее оценку «отлично», средние — «хорошо», слабые — «удовлетворительно». Меня Валерия Сергеевна записала в «сильные», а убедившись, что я к тому же умею работать руками, потребовала меня в помощники. Дело было в том, что Валерия Сергеевна работала ассистентом на кафедре общей физики, в аспирантуре же у Царева состояла заочно. Теоретическую часть диссертации она закончила, оставалось поставить эксперимент. Помощник нужен был ей позарез.

После разговора с Царевым я отправился в лабораторию, получил от Валерии Сергеевны задание, ключ от входной двери и право называть ее Лерой.

Жизнь словно раздвоилась: на факультете я по-прежнему чувствовал себя частью студенческой толпы, которая по команде перемещается из одной аудитории в другую, а по окончании занятий разбегается кто куда. Зато на

кафедре я — полноценный сотрудник, незаменимый помощник аспирантки Царева.

Я и в самом деле был для нее незаменим. Лера слабо разбиралась в экспериментальной физике, часто мучила меня, сама не зная, чего хочет. Когда же, в конце концов, я начинал понимать, что от меня требуется, то делал все так, как считал нужным. Лера сердилась, кричала на меня, но если эксперимент удавался, если Царев одобрительно кивал головой, она трепала меня по волосам:

— Вот видишь, дуралей, а ты еще со мной спорил!

За это «дуралей» я ей все прощал.

Семинары кафедры электровакуумных приборов — все называли их «Царевы семинары» — поразили меня количеством и разнообразием докладов и докладчиков. Случалось, что за один вечер приходилось выслушать физика-теоретика, инженера-оптика и полковника с военной кафедры. От всего этого голова шла кругом, я просто не понимал, что происходит. Понимать я начал после того, как на одном из докладов обратил внимание на незнакомое сокращение «ЛБВ». «Что это, ЛБВ?» — спросил я у соседа справа. Тот покосился на меня с подозрением и ничего не ответил. Понял: я не знаю чего-то очень важного. Собрался с духом, спросил Леру.

— ЛБВ? — Лера с удивлением посмотрела на меня. — Так ведь это то, над чем мы работаем!

Таинственное слово ЛБВ расшифровывалось как «лампа бегущей волны». Это была та самая лампа, без которой нельзя было построить радиолокатор для обнаружения самолетов. История ее началась два года назад, когда Царева вызвал в Москву сам нарком боеприпасов. Вызвал, стукнул кулаком по столу:

— У американцев есть, у нас — нет. Должна быть!

Царев молчал — он хорошо знал, как выжимать из начальства деньги на науку:

— Чего молчишь? Тебе что, людей не хватает, оборудования?

— Чтобы подступиться к этой штуковине, нужно провести фундаментальные исследования. И только потом...

В результате «наверху» решили создать исследовательскую лабораторию при Политехническом институте, а производство самой лампы наладить на ленинградском военном заводе № 742. Там работа была засекречена, а ЛБВ получила название «Изделие семнадцать». У нас же, в Политехе, секретности не было, но слово ЛБВ предпочитали вслух не произносить. Не знал об этом разве что я, а когда узнал, сразу понял, к чему весь этот винегрет из физика-теоретика, полковника с военной кафедры и инженера-оптика. Стала ясна и моя роль в этом проекте, где я, как оказалось, нужен не только Лере, но и самому Цареву, и делу, которое за ним стоит. Жизнь начала обретать смысл, будущее — конкретные очертания.

Что до студенческой казармы, то она тяготила меня все меньше и меньше. Я старался не замечать злобных взглядов старосты, «скидывал» — чтобы тут же забыть — зачеты по марксизму-ленинизму, с закрытыми глазами отсиживал лекции о международном положении, как на стихийное бедствие, смотрел на воскресники и другие повинности.

Слух о «Царевых семинарах» проник в институтские коридоры, от желающих их посещать не стало отбоя. Между нами, «семинаристами», возникли новые отношения. «Ты пойдешь на доклад Н.?', «По-моему, К. вчера превзошел самого себя», «Ты знаешь, шеф пригласил академика С., это будет гениально», — бросали мы друг другу как бы невзначай. Наши же «старики», напротив, к учебе делались все более равнодушны, лекции пропускали, разговоры вели о парткомах, райкомах и горкомах. «Ты был вчера на парткоме?', «Что решили в райкоме?', «Я завтра не приду, у меня горком». Казалось, мы живем в непересекающихся мирах, друг другу не интересны и не нужны.

Так только казалось.

Ученые мужи, в том числе и профессор Царев, удостоверив наличие у Бондаренко высшего образования, рассчитывали, что этот ровным счетом ничего не смысливший в науке человек взвалит на себя административные обязанности и не станет вмешиваться в научные дела. Не тут-то было! Бондаренко видел себя повелителем не только студентов, но и профессоров, которых ни в грош не ставил, а то и ненавидел всеми фибрами души. К своей цели он шел медленно, осторожно, то наступая, то отступая, вербуя себе сторонников среди обиженных сотрудников и великовозрастных студентов. Что касается Царева, то Бондаренко хорошо знал, что человек он неприкасаемый, но знал он и то, что у каждого неприкасаемого есть свои слабости, свои страсти и пристрастия, — нужно только выждать...

Когда Царев получил Сталинскую премию, на факультете устроили торжественное собрание.

Царев сказал: «Мы очень рады, что нам удалось внести лепту в укрепление безопасности нашей родины. Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы враги никогда не смогли вторгнуться в нашу страну, не могли больше жечь наши города, убивать наших стариков и детей».

Бондаренко сказал: «Мы гордимся тем, какие важные государственные дела делаются на нашем факультете. Мы заверяем партию, правительство и лично товарища Сталина, что будем и впредь верно следовать курсу партии и указаниям нашего вождя и учителя».

Между тем образцы ЛБВ, показавшие отличные результаты в лаборатории, воссоздать в заводских условиях не удавалось. Сотрудники лаборатории нервничали, постоянно торчали на заводе, пытаясь установить причину неудач. Я же приходил в лабораторию до начала занятий, засиживался там до позднего вечера, а то и оставался на ночь. Дела тем не менее продвигались медленно — от вос-

кресников, лекций по международному положению и беготни с противогазом нас никто не освобождал.

Царев сказал: «Борис Васильевич, в лаборатории аврал: чтобы завод сумел в кратчайший срок освоить наше изделие, предстоит проделать огромную работу. Я уже получил согласие на увеличение штата. Но, пока улита едет, прошу вас освободить наших сотрудников от воскресников».

Бондаренко сказал: «Вы что? Это невозможно, в парткоме нас не поймут! И вообще, у нас на факультете другая проблема: трое студентов — членов партии! — не могут сдать экзамена, и им грозит отчисление».

Дело закончилось вничью: протеже Бондаренко экзамены сдали, сотрудники лаборатории получили освобождение от воскресников.

Настоящий бой между профессором и деканом разгорелся, когда дело дошло до защиты диссертации Валерией Сергеевной. По горло занятая работой, Лера отложила все формальности на последний момент. И вот в этот-то момент оказалось, что документы у нее не в порядке! В деканате не могли отыскать протокола о сдаче какого-то экзамена, «вдруг» выяснилось, что аттестат зрелости у нее на одну фамилию, а диплом — на другую. До защиты оставались считанные дни, а в деканате твердили одно: «Не допустим!» Тут уж возмутился сам Царев, отправился к декану, потребовал «прекратить издевательства». Бондаренко визита Царева ждал и тщательно к нему подготовился — папка с перечнем «нарушений» Валерии Сергеевны лежала у него на столе.

Царев сказал: «Валерия Сергеевна сделала работу, чрезвычайно важную для науки и для обороны страны, а вы ставите ей препоны. Она что, по-вашему, аттестат подделала или диплом?»

Бондаренко сказал: «Порядок есть порядок, до защиты не допустим!»

Царев хлопнул дверью и пошел в ректорат. Бондаренко закрыл папку и пошел в партком. Ректор и парторг решили скандал замять: Цареву и Бондаренко было предложено помириться. За мир, за право Валерии Сергеевны предстать перед Ученым советом, Бондаренко назначил цену — кандидатскую диссертацию для собственной персоны!

Лера защитилась блестяще, все ее хвалили, говорили о том, как важна ее работа для следующих поколений ЛБВ. Царев думал иначе:

— ЛБВ — это вчерашний день. Надо идти вперед, работать над чем-то другим.

Профессор изложил идею совсем другого устройства, которое получило название «лампа обратной волны».

— Работы здесь, хоть отбавляй, так что вы, — Царев обратился ко мне, — заканчивайте с дипломом и приступайте к делу. Пирог здесь большой, и вам на диссертацию хватит, и кое-каким проходимцам.

1950 год подходил к концу, до защиты диплома оставался всего месяц. Неожиданно меня вызвал замдекана по учебной работе. Я явился, постучал. Молодой человек спортивного вида протянул мне руку, показал на стул:

— Ну что, дрожишь? Работу писать кончил?

— Вроде бы кончил.

— А как с чертежами, ватмана хватает, миллиметровки?

— Должно хватить.

— Смотри, если чего нужно, приходи, помогу. Но сразу скажу, название твоей дипломной мне не нравится — очень уж замысловатое. И на защите держись проще. Я по опыту знаю: народ в комиссии разный, некоторые в нашем деле ни бум-бум. Так что излагай все просто и ясно, чтобы и ежу было понятно.

— Спасибо, постараюсь.

— Ну, а у родителей бываешь?

Я растерялся:

— Как у родителей? Они у меня погибли.

— Погибли, говоришь? А с друзьями контактишь? В Литве бываешь?

— Один друг в Москве есть. С ним переписываюсь. В Литве не бываю, у меня и денег-то на дорогу нет.

— Как это — нет? А стипендия, лаборантская ставка?

— Полставки.

— Только полставки! Что ж тебя Царев так обижает? А скажи, дома-то ты хоть у него бываешь?

— Был один раз.

— Как тебе его квартира?

— Я в квартире не был, только на кухне.

— На кухне? Он что, в квартиру студентов не пускает?

— Да нет, просто дело было поздним вечером, я помог ему книги домой отвезти. Мы книги затащили, он и говорит: «Где вы в такое время будете ужинать? Оставайтесь, я вам яичницу сделаю». Я яичницу съел и ушел.

— Мда, — замдекана покачал головой, — такие деньжищи загребают, а студенту — яичницу на кухне! А скажи, ты никого в квартире не видел, жену его или Валерию Сергеевну?

— Не видел.

— Понятно, понятно. А вот ответь-ка мне, ты почему не комсомолец?

— Так получилось. Во время войны на заводе работал, в вечерней школе учился. Там ни до того было, лишь бы выжить....

— Понятно, понятно. Теперь скажи, планы у тебя какие, в аспирантуру?

— Если получится, — я пожал плечами.

— Почему бы и нет? Студент ты неплохой, только вот Бондаренко тобой недоволен. Не комсомолец, говорит,

общественной работой не занимается, коллектива сторонится, с товарищами не дружит. Ты что это так?

— Почему же, я дружу... С кем вместе работаем — всегда друг для друга что-то делаем.

— Знаю, знаю, что вы там делаете. Ты вот на Валерию Сергеевну пахал. Она сама-то хоть понимала, что ты ей сооружал?

— Ну да, а как же! Она давала задания, а я только исполнял.

— Правда? А все говорят, будто Царев ей теоретическую часть написал, а ты эксперимент сделал.

— Что вы! Я бы и не смог.

— Ну, ладно, коли так. А то ведь знаешь, бывает, что и профессор, и слава на всю страну, а как на поверку, то и идею у какого-нибудь аспиранта украл, и студентов пахать на себя заставляет. Хорошо, парень, — замдекана поднялся и протянул мне руку, — давай защищайся, потом придешь, поговорим насчет аспирантуры. Я постараюсь Бориса Васильевича уговорить. Только ты должен мне все подробно излагать. Служба у меня такая — студентов защищать... от всяких там светил.

Из кабинета замдекана я вышел с ощущением тревоги. С одной стороны, ничего особенного не произошло: замдекана вызвал студента-дипломника и поинтересовался, как у него идут дела, что-то ему посоветовал. С другой — сердце чувствовало подвох, даже какую-то беду. Пять лет никто на факультете обо мне не вспоминал и вдруг от меня что-то понадобилось. Но что именно?

Рассказал о беседе в деканате Валерии Сергеевне. Она выслушала меня молча и ничего не сказала. Повернулась и ушла.

За три дня до защиты ко мне подошел Царев:

— Ну-с, как наши дела, все готово к защите?

— Кажется, все.

— Вот и хорошо. Спокойно защищайтесь и ни о каких посторонних вещах не думайте. Что до аспирантуры, то

брать будем только достойных. Существуют экзамены, конкурс, рекомендация научного руководителя, наконец. Думаю, у вас хорошие шансы.

Шансы у меня были хорошие, но сразу после защиты в институт поступило распоряжение из министерства высшего образования: всех без исключения выпускников радиофака направить на военный завод.

Большое несуразное здание, обнесенное забором с колючей проволокой, — это и был военный завод — затесалось в переулках на Кировском бульваре. На проходной вахтерши — суровые тетки в сапогах и гимнастерках — тщательно рассматривали пропуска, а потом, нажав педаль, пропускали через турникет по одному человеку. Нас, сгрудившихся в кучку выпускников Политеха, встретила сотрудница отдела кадров, проверила по списку и повела к своему начальнику. Тот попросил всех ждать в коридоре, вызывал по одному.

Крепкий скуластый мужчина извлек из стопки папок ту, на которой была написана моя фамилия, по слогам прочел имя, отчество, спросил: «Правильно?» и стал толстыми кривыми пальцами, совсем не приспособленными для перелистывания страниц, перебирать какие-то бумаги. Каждую он внимательно читал, потом откладывал в сторону и брался за другую. При этом он постоянно что-то сверял, сопоставлял, куда-то заглядывал. Наконец, так и не подняв головы, приказал:

— Выйдите. Ждите в коридоре.

Я вышел, но не успел сесть на скамейку, как мимо меня пулей пронеслась сотрудница отдела кадров и скрылась в кабинете начальника. Потом она также стремительно оттуда выскочила, бросила на меня недобрый взгляд, сказала: «Ждите».

Ждать пришлось часа полтора. Начальник уже принял всех наших ребят, а я все сидел и ждал. Наконец появилась кадровичка.

— Вам придется прийти через день.

Через день она спустилась ко мне в проходную.

— В конструкторском бюро мест нет. Можем предложить вам механический цех.

— Как механический? У меня ведь специальность «электровакуумные приборы»!

— Ничем помочь не могу, в КБ мест нет.

Леру я нашел на кафедре. Она похудела, осунулась, мне даже показалась, что она недавно плакала.

— Берите, что дают. Окажетесь внутри, осмотритесь, потом перейдете в другое место.

Я снова отправился на Кировский. Из проходной позвонил сотруднице отдела кадров, сказал, что в механический цех согласен.

— Хорошо, — был ответ, — приходите через день.

Через день она встретила меня словами:

— В механическом цеху вас не хотят, им нужен человек с опытом.

Какое-то время мы понуро стояли друг перед другом, но неожиданно лицо кадровички просветлело:

— Послушайте, а что если мы дадим вам открепление? Получите свободный диплом и устраивайтесь куда хотите. Как вам?

— Разве так можно? — спросил я с недоверием.

— Вообще-то нельзя, но начальник сказал, что для вас сделает исключение.

Свободный диплом? Это звучало привлекательно. С таким дипломом можно и в аспирантуру подать.

Можно-то оно можно, да только...

Жена профессора Царева написала в партком института заявление, что ее муж сошелся со своей бывшей аспиранткой, бросил семью и ушел из дома. Преступление было серьезное, Царева вызвали на ковер, потребовали, чтобы он вернулся «в лоно семьи». Валерии же Сергеевне предложили подать заявление об уходе «по собственному желанию». Понятно, Бондаренко торжествовал, понятно, ре-

комендация Царева больше ничего не значила, понятно, аспирантуры мне было не видать как своих ушей.

В поисках работы я, кажется, оббегал весь Ленинград, обзвонил отделы кадров всех научно-исследовательских институтов, лабораторий и заводов, где только могли заниматься радиотехникой. Поначалу все выражали большую заинтересованность: «Инженер-радиотехник? Окончил Политехнический? Позарез нужен, немедленно приезжайте!» Меня встречали с распростертыми объятиями, но, ознакомившись с документами, тут же делали кислые рожи, просили позвонить через неделю. Через неделю выяснялось, что «место уже занято», или «специалист вашего профиля больше не нужен», или просто — «изменились обстоятельства».

Между тем август приближался к концу, деньги были на исходе, в общежитии я ночевал нелегально, являясь туда затемно. Пришла мысль — не обратиться ли на Металлический завод? Ведь я проработал там всю войну, меня там знали, в отделе кадров даже просили после института вернуться на завод!

Екатерину Кондакову я не узнал. Ко мне вышла хорошо одетая блондинка с ярко накрашенными губами, больше похожая на киноактрису, чем на ту женщину в телогрейке, перетянутой солдатским ремнем, которую я впервые увидел в ноябре сорок первого. Катя встретила меня приветливо, протянула руку, провела в приемную и начала участливо обо всем расспрашивать:

— Ну, а чем теперь намерен заняться, инженер ты наш?

— Вот, пришел к вам насчет работы, — смущенно ответил я.

— Так ведь ты нам не по профилю, мы — машиностроение, у нас радиотехники нет.

— Я знаю. Но я могу и просто инженером-электриком работать. Или что-то делать с приборами. Завод ведь большой, чего у вас только нет!

— Ладно, давай документы, я буду думать.

Через неделю Катя встретила меня в проходной, провела в заводууправление и долго водила по коридорам, заглядывала то в одну дверь, то в другую. Наконец она нашла свободную комнату, мы зашли, Катя заперла дверь:

— Вот что, парень, я тебя знаю с тех пор, когда ты мальчишкой пришел к нам из ремесленного. Всю блокаду лямку тянул. Зосима Петрович тебя хвалил, говорил, что слесарь ты толковый. Ну, и не пил ты, не воровал, не безобразничал. В общем, я тебе доверяю. Только дела нынче такие, что нет доверия вашей нации. Всех ваших уже снимали. И главного технолога, и Каплана твоего сняли. А ведь он тридцать лет отпахал в цеху, пацаном пришел, каждый уголок знал, каждое изделие через его руки прошло. Да и заменить его некем. Но ничего не попишешь — наверху потребовали. Есть разговор, что скоро и до рядовых инженеров дело дойдет. А ты-то вообще особая статья. В любом отделе кадров твою анкету увидят и схватятся за голову. Ты ведь западник, родился в буржуазной Литве, родители в оккупации остались, а потом неизвестно куда делись, может, и в Америку уехали. Больше скажу — хвост за тобой тянется. Я ведь когда своему начальнику твои бумаги дала, он поморщился, руками замахал. Но у нас с ним, как бы тебе сказать... Короче, уговорила его взять тебя техником в КИП. Секретности там никакой нет, сиди, приборы ремонтируй — там их гора, поломанных. Через день шеф меня вызывает, орет как бешеный: «Ты кого мне подсунула, погибели моей хочешь? Ты знаешь, откуда мне звонили? Бдительность, говорят, утратил, мышей не ловишь, врагов в упор не видишь!» Швырнул мне твою папку и до сего дня со мной не разговаривает.

Я молчал, но мой вид говорил сам за себя.

— Ну, ну, парень, ты носа-то не вешай. Всякое бывает. Блокаду мы разве думали пережить? А ведь пережили! Так что, глядишь, через какое-то время все поменяется. А пока вот что тебе скажу — уезжай из Ленинграда. Здесь, куда бы ты ни сунулся, из отдела кадров в твой институт позвонят,

поинтересуются, откуда у тебя свободный диплом, а там на тебя ох какой зуб! Вот я тебе и говорю — уезжай к себе в Литву. Там ты, по крайней мере, никого не удивишь тем, что родился в Каунасе. К тому же там специалисты очень требуются. Даже нас просили откомандировать кое-кого.

Мы молча сидели друг перед другом, пока я, наконец, не сообразил, что пора уходить.

— Спасибо вам за совет. Только не знаю, как я в Литву поеду, там ведь у меня никого нет.

— Потом благодарить будешь, — Катя открыла сумочку, достала две сторублевые бумажки, протянула мне. — У тебя, наверное, с этим плоховато. На вот, возьми, разбогатеешь — вернешь.

Она отперла дверь, крепко пожала мне руку.

— Только запомни, разговора такого никогда не было. Я тебе ничего не говорила, ничего не давала и ничего не советовала.

После встречи с Катей я перестал звонить в отделы кадров и бегать по учреждениям. Целыми днями я бродил по ленинградским улицам, прощался с городом, предчувствуя, что больше его никогда не увижу.

Через неделю я задышался от тесноты и табачного дыма в общем вагоне поезда, который вез меня в литовскую столицу.

### *Глава четвертая*

Наум сказал: «Инженер-не инженер — большое дело! Человеку нужно на кусок хлеба заработать, ир вискас<sup>1</sup>! Миша, ты как-то говорил, что у вас монтера ищут. Возьми парня. И Докторайтис твой — порядочный человек».

Миша сказал: «Докторайтис! Вспомнил тоже. Его уже месяц как сняли: беспартийный и брат в Америке. При-

<sup>1</sup> Ир вискас (*лит.*) — и все тут.

слали какого-то типа, и я вам скажу — сволочь, хам, анти-семит! Может, ты, Захарик, парня пристроишь? Ты ведь сам себе голова».

Захарик сказал: «Куда пристроишь? Кем? У меня деревенские бабы вафли жарят, и весь гешефт. Это у тебя, Йорам, все дела с электричеством связаны. Поговори с Аронсоном, может, возьмет».

Йорам сказал: «Возьмет! Да Аронсонас в штаны надевает, как только я заикнусь. Ему начальство и без того тычет: синагогу у себя развел! Лучше ты, Хона, к Бабилюсу подойди, он-то уж точно никого не боится».

Хона сказал: «Бабилюс-то не боится, да ведь сам он людей не принимает, на то отдел кадров существует. А там такие типы сидят...»

Привокзальной площади я не узнал, — она стала большой и несуразной. В центре ее, выстроившись в каре, стояли крестьянские повозки, между которыми с мешками, ведрами, кошелками сновали мужики и бабы. Базар шумел, суетился, издавал деревенские запахи, и только упитанные кони мирно жевали сено, не обращая внимания на объезжающие их грузовики и легковушки.

Куда идти? Машинально побрел вместе с толпой и вышел на улицу, которая показалась мне знакомой. Уж не Завальная? Точно, она и есть. А вот и Большая синагога. И надо же, совсем не пострадала! Даже скрижали, что венчали портал, на месте. Правда, облезлый фасад и забитые фанерой окна заставляли усомниться: а обитаем ли нынче дом Божий? Тем не менее сердце забилося — я вдруг понял, что именно сюда мне и нужно. Удивился, как это раньше в голову не приходило!

Калитка невысокого металлического забора, что ограживал синагогу, была заперта. Постучал, подергал — никто не отозвался. Подумал: рано, наверное, народ, должно быть, к вечеру собирается. Решил подождать, а пока что пошел вниз по Завальной и набрел на скверик. Скве-

рик был чистый, уютный, с видом на протестантскую церквушку. Сел на скамейку, устроил возле себя чемодан, подставил лицо полуденному солнцу и...

— Эй, парень, компанию не составишь?

Я открыл глаза. Кто-то тормозил меня за плечо.

— Компанию? Какую компанию?

— А такую, что времени уже двенадцать часов, а я еще трезвый, как дурак.

Крупный молодой мужчина походил на кого угодно, только не на пьяницу-забудыгу. Гладко выбритое лицо, твидовый пиджак с кожаными застёжками, брюки в стрелку.

— Я, я... не знаю.

— А чего тут знать? Контора моя напротив, шага два отсюда. Сделаем по маленькой, закусим. Ты, я вижу, приезжий, расскажешь, откуда прибыл, чего у нас ищешь.

Мы перешли улицу, свернули чуть вправо и остановились под вывеской «Гардины». Новый знакомый отпер дверь, мы прошли по темному коридору и оказались в небольшой конторке. Где-то за стеной стрекотали швейные машины, пахло сыростью и пылью. Мой новый знакомый снял пиджак, повесил его на вешалку, потом приоткрыл дверь в мастерскую:

— Ванда, организуй-ка закуску. На двоих.

Отдав распоряжение, хозяин уселся за стол, заваленный обрезками разноцветной ткани, достал из ящика бутылку, лихо скovyрнул жестяную крышечку:

— Видал, «Московская», не хухры-мухры! Ну ладно, давай знакомиться. Меня зовут Моня, а это мое хозяйство. Я тут гардины шью, шторы, занавески разные. Для учреждений — по безналичке. На этом ни черта не наварить, а вот на частниках пару копеек делаю. А ты откуда явился, айд<sup>1</sup>?

Родом Моня был из белорусского городка Молодечно, войну провел в эвакуации в Алма-Ате, окончил там школу

<sup>1</sup> Айд (*идиш*) — еврей.

и текстильный техникум. После войны отец Мони вернулся в родной город, но ничего, кроме пожарищ, там не нашел. Он долго мотался по Белоруссии и Литве, но в конце концов пристроился в Вильнюсе по мясной части, а затем перетащил сюда всю семью.

В Вильнюсе Моня чувствовал себя неуютно, местной публики чурался, всякий раз подчеркивая, что он — дипломированный специалист из России. Свободное время Моня проводил либо в ресторане «Вильнюс», излюбленном месте московских начальников и местных богатеев, либо отправлялся «сделать партию» на бильярде в Дом офицеров, что расположился в бывшем губернаторском дворце. А еще Моня любил крепко выпить и хорошо закусить. Однако же в одиночестве не пил; собутыльник ему был необходим. Тут-то я его и подвел: свалился не то после второй, не то после третьей рюмки.

Наум сказал: «Так что, какари, никто не берется устроить парня?»

Йорам сказал: «Поговорю с Аронсоном, может, он клюнет на Ленинградский институт».

Хона сказал: «Попробую добратсья до Бабилюса, но кто знает?»

Наум сказал: «Да, чувствую, без Дрота нам не обойтись. Ну, а кто сегодня его возьмет ночевать?»

Три недели я ночевал то в одном доме, то в другом, но в конце концов обосновался у тети Симы. Рыхлая, неряшливая, неповоротливая, ее так и звали Сима-копуша, она жила в деревянном домишке напротив Кальварийского рынка. Удобств в доме не было никаких, воду носили из ближайшей колонки, туалет — покосившаяся деревянная будка — стоял на пустыре, печь топили дровами и хворостом, которые Сима запасала все лето. Зато ей принадлежал большой огород, которым она гордилась и, главное, которым кормилась.

Родилась Сима в каком-то глухом местечке, название которого никому, кроме нее, известно не было. Когда началась война, Симе стукнуло семнадцать. Как ей удалось выжить, прячась по разным малинам<sup>1</sup>, знает один Бог, однако ж поздней осенью сорок четвертого ее, едва уже живую, нашли в лесу солдаты из Литовской дивизии<sup>2</sup>, накормили, завернули в одеяло и отвезли в Вильнюс. Там один из них, немолодой уже солдатик, по имени Федя, устроил Симу в тот самый домишко, где жил до войны, и поручил опекать ее соседу-поляку. Симе же наказал: жди, вернусь с войны — на тебе женюсь!

Свое обещание Федя выполнил: демобилизовался, вернулся в Вильнюс, женился на Симе и пошел работать по специальности — маляром. Маляр он был хороший, мужик — работающий, так что вскоре и дом привел в порядок, и Симу приодел-приобул. Живи, радуйся!

Долго радоваться не пришлось: старые раны заявили о себе, Федя начал чахнуть и вскоре отошел в мир иной, оставив по себе вдову с двумя малышами, большим огородом и малюсенькой пенсией. Чтобы прокормить своих мамзеров<sup>3</sup>, Сима с утра до вечера гнула спину в огороде и к тому же приторговывала на рынке. Чем? Один Бог знает!

«Угол» — матрац на кухне — Сима сдала мне не только ради денег. Ребята ее подросли и пошли в школу. Учеба им не давалась, однако выучить детей, как завещал ей ненаглядный Федя, полуграмотная Сима старалась изо всех сил.

За хозяйских сорванцов я взялся всерьез, но карьера домашнего учителя неожиданно оборвалась. Как-то вече-

<sup>1</sup> Малина (*жаргон*) — укрытие, убежище.

<sup>2</sup> Литовская дивизия — подразделение Красной (Советской) армии, сформированное из выходцев из Литвы.

<sup>3</sup> Мамзер — согласно иудейскому вероучению, человек, рожденный еврейкой от кровосмесительной связи. В обиходе — незаконнорожденный, рожденный еврейкой не от еврея.

ром на пороге нашего домика появился невысокий человек в шинели и офицерской фуражке. Лицо его было в шрамах, нос перекошен, как у боксера, глаза смотрели так, словно искали место, куда нанести удар:

— Кто тут каунасский парень, ты что ли?

Поняв, что, кроме меня, никто здесь каунасским парнем быть не может, неожиданный гость подошел, протянул руку:

— Я — Карл Дрот, мне Наум о тебе просигналил. А ну, рассказывай, что делать умеешь?

Удивительным человеком оказался этот Дрот. Отец его был старым большевиком из тех, что устанавливали советскую власть в Белоруссии. Делу партии Ленина—Сталина Дрот-старший был предан безоголочно, к врагам относился беспощадно, а оттого дошел до высших ступеней власти: распорядился и хозяйством республики, и судьбами тысяч людей. Пришло время, и кто-то распорядился его судьбой. Преданного партийца обвинили не то в троцкизме, не то в правом уклонизме и отправили в воркутинские лагеря отбывать двадцатипятилетний срок.

Отпрыск же партийного вельможи, оказавшись в одночасье сыном врага народа, переживал горе так же искренне и глубоко, как до того верил в Маркса, Ленина и Сталина. В первый же день войны Карл явился в военкомат и упросил отправить его на передовую. Дрота определили в разведроту, с которой он то отступал, то наступал, совершая по дороге туда и обратно такие геройства, что дивились им самые отчаянные разведчики. Многие даже думали, что парень не в себе и просто ищет смерти. Понятно, никому в голову не приходило, что рядовой Дрот старался любой ценой смыть с себя отцовский позор. На легкие ранения Карл внимания не обращал, а когда попал в госпиталь с серьезными, то, чуть придя в себя, непременно оттуда сбегал и возвращался в строй.

Вместе со шрамами на теле росло и число орденов на гимнастерке. Через какое-то время Дрота произвели в сер-

жанты, потом — в офицеры, потом сделали командиром взвода разведчиков и торжественно, перед строем, приняли в партию. Таким вот героем Дрот прокладывал путь своей дивизии, наступавшей на Львов. По дороге случилась незадача.

С ходу ворвавшись в какое-то гуцульское село, Дрот и его разведчики обнаружили там не немцев, а... виселицу, на которой болтались тела мужчины, женщины и двоих детей. Оказалось, это была еврейская семья, которая умудрилась прятаться в лесах всю войну. Когда же немцы, отступая, оставили село, еврей выбралась из укрытия, вошла в село, но тут же оказалась в руках местных патриотов, которые, недолго думая, повесили их на торговой площади. Недолго думал и Карл Дрот. Выгнав сельчан на площадь, он под угрозой расстрела потребовал выдать висельщиков. Имена ему тут же назвали, комвзвода приказал вздернуть палачей на той самой перекладине, где только что висели тела их жертв.

За самоуправство Карл был понижен в звании и отправлен в штрафной батальон, где воевал так же отчаянно, как и прежде. После первого же ранения он был возвращен в свою часть, окончил войну в звании капитана и с сознанием выполненного долга вернулся в родной Минск. Возможно, и в гражданской жизни все у героя-разведчика сложилось бы хорошо, если бы не один вопрос, который не давал ему покоя: отец! Был ли его отец предателем дела Ленина и Сталина или произошло недоразумение?

Целый год Дрот оббивал пороги разного начальства, тряс орденами, писал письма, ездил в Москву. Наконец, добился своего: получил разрешение на свидание с отцом.

Добравшись до лагпункта в Воркуте, Дрот это разрешение и предъявил. Вид боевого офицера-орденоносца на лагерное начальство произвел впечатление отрицательное: таких здесь привыкли видеть разве что на нарах. В свидании ему не то чтобы отказывали, но каждый день встречу с родителем откладывали, отменяли, потом снова

откладывали. Расчет был на то, что офицерик с материка такой тягомотины не выдержит и уберется восвояси. Дрот отступать не привык. В конце концов зэка номер 64185 ему привели.

Карл задал отцу только один вопрос:

— Ты виноват перед партией и товарищем Сталиным?

Большевик-ленинец ответил твердо:

— Не виноват!

Карл вернулся в Минск, снял ордена, сжег партийный билет и отправился куда глаза глядят. В итоге он осел в Вильнюсе, устроился снабженцем в артель бытовой химии, что в Панеряй, и разъезжал по литовским и белорусским селам, скупая сырье для приготовления ваксы, губной помады, лаков и красок. Занятие по тем временам не безопасное.

Меня Карл устроил в свою артель электромонтером и время от времени брал в поездки «на подмогу». Разъезжал Карл на старенькой полуторке, которая пыхтела, сопела, а будучи доверху нагруженной, ни за что не хотела подниматься в гору. В этих случаях и нужна была «подмога» — я выходил и толкал грузовик сзади.

— Лесных братьев не боитесь? — спросил я его однажды.

Карл было обиделся: я боюсь? Но тут же отошел и рассказал о своей встрече с литовскими партизанами:

— Ехал я как-то Лабанорскими лесами, вдруг на дорогу выскакивают двое и бах-бах из карабина. Стекло разбили, но в меня не попали. Я выскочил и на них. Они-то думали, я убежать стану, растерялись и сами пустились наутек. Я — за ними. Одного поймал, скрутил, смотрю, пацан еще, от силы восемнадцать. Говорю: «Ты что, сволочь, делаешь? Убить ведь мог». — А он: «Всех вас перебьем, большевистские собаки». — «Так и всех? А знаешь ты, сколько нас всех? Миллионы. А вас в лесах сотня-другая». — «Зато к нам скоро англичане придут». — «Эх, парень, задурили тебе башку, пропадешь ты ни за что. Я вот тебя сейчас от-

пушу, а ты иди и сдайся с повинной. Срок отсидишь, зато жить будешь!» Отпустил я его тогда, а больше с лесными братьями не встречался.

После первой же получки я принялся искать жилье. Дело оказалось непростым — жилье искали все! Но у меня был Наум, у Наума был Миша, у Миши был Захарик... В конце концов мне нашли комнатуху в Старом городе, на Трокайской улице. Комнатуха пристроилась под самой крышей, добраться до нее можно было только по наружной лестнице, которая серпантином опоясывала двор-колодец. Колонка с водой и все другие удобства находились во дворе, но это никого не смущало, считалось, что так оно и должно быть. Вообще, люди в нашем доме жили тесно, терлись друг о друга локтями, часто ссорились, но временами проявляли друг о друге такую заботу, какой и от ближайших родственников ждать было трудно.

Обо мне знали, что семья моя погибла, что в эвакуации я был в Ленинграде, а теперь работаю монтером. Случай, по представлениям Трокайской улицы, обычный, означающий, что явился еще один такой, как все. Так что не успел я снять всячего замка со своей двери, как кто-то уже тащил мне стул, кто-то — ведро, кто-то — пару свечей. Меня все это смущало, дружбы с соседями я избегал и, чтобы пореже с ними сталкиваться, возвращался домой поздно, делал вид, будто очень занят.

Я и в самом деле был занят: занятием моим стали прогулки.

Надышавшись за день парами кипящей ваксы, запахами лаков и красок, я начинал сильно чихать и кашлять. Спасало одно — свежий воздух. Выйдя с работы, я не бежал вместе со всеми к автобусу, а предпочитал сделать несколько кругов вокруг фабрики или пройти пешком до одной из следующих остановок. Через какое-то время я начал ориентироваться и сообразил, что автобус, огибая Верхний Панеряй, делает большой круг. Сообразил и решил выйти на дорогу, которая ведет в город, прямо по лесу. И вот тут-то...

Лесок был жиденький, но пробираться сквозь него было трудно. Овраг, овраг и снова овраг. Не успеешь выбраться из одного, и уже снова спускайся вниз, и опять карабкайся вверх. После очередного подъема решил отдышаться, прилег на траву и вдруг заметил невдалеке щит, похожий на те, что с надписью: «Не ходить», «Не топтать траву», «Не бросать окурки» — обычно устанавливали в ленинградских скверах. Но что можно запретить здесь, посреди леса?

Полежал минут пять, потом подошел и увидел черную табличку, на которой белыми буквами по-литовски и по-русски было написано: «На этом месте в 1941—1942 гг. фашисты расстреляли свыше 15 000 советских граждан. В августе 1944 г. при вскрытии ямы обнаружено 12 000 несожженных трупов».

Боже мой: Панарей! Так ведь это и есть те самые Панары, в которых, как когда-то писал Лазик, расстреливали вильнюсских евреев.

Когда я пришел в себя, начало темнеть. Куда идти? Плутал, плутал, но в конце концов вышел на дорогу и на попутном грузовике добрался до города. Изможденный, разбитый, я не стал на этот раз украдкой пробираться в свою каморку, а долго стоял на лестнице, выжидая, когда выйдет кто-нибудь из соседей. Наконец чья-то дверь открылась, на лестничной площадке показалась молодая женщина:

— Панары? Конечно, слыхала, но я не местная. У меня муж здешний, может, он знает. Лека, а Лека, поди сюда!

Лека, крупный мужчина в майке и пижамных штанах, о Панарах знал только одно: там расстреливали.

Узнать у соседей какие-то подробности оказалось невозможно. Во-первых, коренных виленчан среди них не было, но, главное, разговоров на эту тему на Трокайской улице избегали. Впрочем, избегали их не только на Трокайской. И Миша, и Наум, и Йорам, и Моня при слове «Панары» тут же замолкали или переводили разговор на

другую тему. Только Карл говорить о Панарах не отказался и даже взялся показать мне другие ямы, в которых лежали где двадцать, где тридцать тысяч «советских граждан». Дрот вел меня от ямы к яме и, словно опытный экскурсовод, рассказывал о том, как в конце тридцатых годов поляки вырыли здесь котлованы под нефтехранилище, но потом началась война, и котлованы так и остались ни для чего не приспособленными. Применение им нашли немцы: придумали использовать их под коллективные могилы. Сюда из Вильнюсского гетто свозили евреев, здесь же их и расстреливали.

Я брел за Карлом, вполуха слушал его рассказ, а перед глазами стояла картина: папу и маму выводят из гетто, за-талкивают в вагон и отправляют сюда, в Панары.

Ямы я стал посещать ежедневно, знал здесь каждую тропинку, каждый спуск и чуть ли не каждое деревце. Удивительное дело, когда-то мальчишкой я бродил по улицам Вильнюса и все пытался понять: зачем меня привезли в этот город и что в нем принадлежит мне и только мне? Теперь же я точно знал, что здесь принадлежит мне. Ямы! Те самые ямы, в одной из которых лежат папа и мама. И занесло меня в Вильнюс не случайно, а для того, чтобы кто-то навещал их могилы, охранял их покой и покой всех тех, кто здесь лежит.

Наступила зима, сделалось сыро и холодно, а темнеть начинало еще до того, как я уходил с работы. Посещать ямы стало невозможно, но, чтобы не возвращаться домой слишком рано, я долго бродил по улицам города, пытаюсь припомнить, как в прошлом называлась та или иная улица, что было на этом месте, а что — на том. Продрогнув и изрядно подустав, я шел к себе, топил печурку, жарил картошку с луком, запивал ужин кипятком и заворачивался в шинель. В шесть утра я уже трясся в переполненном автобусе, который вез меня в Панеряй.

Новый, 1952, год я встречал у Мони. Народа там собралось много, все кричали, шумели, поднимали бокалы за старый год и за новый, за то, чтобы не было войны, за родину, за Сталина, за детей, за родителей... Поднимали, чокались, пили и шли танцевать.

— Потанцуем? — пухленькая невысокая девушка в розовой блузке вопросительно смотрела мне в глаза.

— К сожалению, не танцую, — я пожал плечами, но тут подскочил Мона, хлопнул меня по спине:

— А ну, не саботируй, дамам нельзя отказывать!

Мы неуклюже топтались на месте, девушка то прижималась ко мне, и я чувствовал ее тугие груди, то нарочито отстранялась, словно это не она, а я прижимал ее к себе. Я не знал, как себя вести, о чем с ней говорить.

— Меня зовут Буня, а тебя?

Буня работала продавщицей в обувном магазине, но мечтала устроиться на большой завод.

— Что это за работа в магазине! Когда товара нет, стоишь целый день одна, как дура. А когда товар привозят, начинается такая давка, только и смотри, как бы на тебе чего-нибудь не порвали. А на заводе так много людей работает! Утром все идут вместе, смеются и друг с другом разговаривают. А у тебя в артели много девушек работает?

— Много.

— Так чего ты не женишься, принцессу ищешь?

— Не ишу я никого, просто не думал об этом.

— А в кино любишь ходить?

В кинотеатре «Аушра» было душно и шумно: кто-то спорил из-за места, за кем-то гонялись контролеры, зрители в ожидании фильма лузгали семечки и громко переговаривались друг с другом. Наконец сзади что-то вспыхнуло, застрекотало, экран засветился.

— Дай руку, — Буня открыла сумочку, достала горсть завернутых в целлофан леденцов и высыпала их на мою ладонь. Затем она наклонила голову и шепнула мне на ухо:

— Это оттуда прислали.

Откуда их прислали, я не понял, — от ее прикосновения, от запаха ее волос меня охватило волнение, я едва выдавил из себя «спасибо».

По дороге домой Буня спросила:

— Это правда, что ты инженер?

— Правда.

— Папа говорит, инженер — последнее дело. Им копейки платят.

— Сколько платят, меня не интересует. Главное, чтобы работать по специальности, над серьезными проектами и с интересными людьми.

Буня хмыкнула, пожала плечами:

— Странный ты какой-то.

Я был недоволен собой. Но не потому, что неловко вел себя с девушкой. Вот наговорил ей: работа по специальности, интересные проекты! А что я делаю, чтобы вернуться к профессии? Ничего! Нет, дальше так нельзя, нужно записаться в библиотеку, начать хотя бы читать журналы, следить за новинками.

Сразу после праздников я отправился в городскую библиотеку, потом проник в университетскую, а позже и вовсе — в библиотеку Академии наук! Я просиживал там все вечера, наслаждаясь не только теплом и уютом, но и сознанием того, что занимаюсь, наконец-то, своим делом.

Увы, статей, непосредственно связанных с темой моего диплома, я не встречал, а оттого читал все подряд. В какой-то момент поймал себя на мысли, что все больше увлекаюсь... оптикой. Началось это увлечение со статьи академика Вавилова, в которой тот пытался объяснить загадочные оптические явления нелинейными эффектами. Пришла мысль: а ведь нечто подобное происходит и в лампе бегущей волны! Вполне возможно, что часть проблем, над которыми бились в лаборатории Царева, связана не с конструктивными недостатками нашей ЛБВ, а с

аналогичными нелинейными эффектами. Восстановил по памяти, где и при каких условиях результаты наших экспериментов более всего расходились с расчетными, и пришел к убеждению, что, по крайней мере, в двух случаях такие эффекты имели место. Неужели я сделал настоящее открытие? Эта мысль настолько ошеломила меня, что я не выдержал и написал письмо Цареву. На радостях написал письмо Лазику. Не вдаваясь в подробности, как и почему оказался в Вильнюсе, рассказал ему, что все у меня хорошо, работаю по специальности, снимаю комнату в Старом городе. Письмо Лазику вскоре вернулось с пометкой: «Адресат выбыл», я было огорчился, но тут пришел ответ от Царева.

Красивым, разборчивым почерком Виктор Георгиевич писал, что рад моему письму, спрашивал: где я работаю, как выглядит Вильнюс, сильно ли он пострадал от войны? Более всего, однако, меня обрадовала его реакция на мои соображения относительно нелинейных эффектов в ЛБВ. «Это блестящая догадка, — писал Царев. — Признаюсь, я и сам об этом думал, рассчитывал начать работу в этом направлении, но после вашего отъезда на нас с Валерией Сергеевной обрушились разные неприятности. Сначала В.С. вынудили уйти из института “во избежание неприятностей для меня”. Она ушла, но мне это не помогло. Нашу лабораторию, ту самую, в создании которой и вы принимали участие, засекретили, поставили у входа вахтера, и меня туда больше не пускают. А потом, когда Бондаренко стал ректором, меня отстранили и от чтения лекций. Правда, пока еще не уволили, зарплата идет, но в институте мне “рекомендовано” появляться как можно реже. Вот я, как и вы, сижу в библиотеке, слежу за новинками и стараюсь сделать что-то по части теории. Но, сколько продлятся эти занятия, не знаю: на днях в “Ленинградской правде” появилась статья, где меня причислили к космополитам...»

Я недоумевал: что значит «причислили к космополитам»? Спросил Карла.

— Ты что, с Луны свалился? Космополит — это еврей. А раз была статья в газете, значит, скоро посадят.

— Но Царев — не еврей. Он из дворян, я точно знаю.

— Тем более посадят.

— Да вы не представляете, какие у него заслуги перед страной. У него две Сталинские премии и орденов не считать!

Лицо Дрота почернело, он сплюнул, густо выматерился:

— Заслуги перед страной! Да они на наши заслуги... положили. Сами-то теперешние начальники пороха не нюхали, в тылу отсиживались, а тем, кто страну спас, мстят как могут. Посадят твоего Царева и глазом не моргнут. Ты с ним поменьше переписывайся.

Слова Дрота я пропустил мимо ушей, письма Цареву писал часто, часто же получал ответы. Получал и всякий раз поражался, как ясно он все видит, как хорошо умеет ориентировать на главное, а порой даже подсказывать решения!

Через некоторое время Царев потребовал, чтобы свои идеи я суммировал, выстроил в единый ряд и обозначил контуры нового направления в науке, которое он предлагал назвать «нелинейной электроникой». Сделать это я должен был в форме статьи, которую он «попробует протолкнуть в солидный журнал».

Работал я с увлечением, засиживался за статьей далеко за полночь и к началу июня поставил последнюю точку. Поставил, выпросил у секретарши большой конверт из плотной коричневой бумаги, отправился на Центральный почтамт и с чувством исполненного долга протянул его в окошко.

Довольный и счастливый, я спускался по широкой лестнице почтамта на залитый солнцем и кишачий людьми проспект. Вдруг откуда-то изнутри заговорило чувство

вины. Что, что я не так сделал? Ах вот что: я ведь очень давно не посещал родителей! Тут же дал себе слово — завтра, в воскресенье, поеду в Панеряй, обойду все ямы, всюду положу цветы.

Так я и сделал. Выпил с утра стакан чая, съел две булочки с сыром и отправился в Панеряй. Спешить мне было некуда, я медленно бродил по едва заметным тропинкам, собирал полевые цветы, убеждался, что знакомые сосенки и березки на месте, а кругом по-прежнему царит покой и тишина. Спустился в одну из ям и, стоя на коленях, осторожно разложил цветы на земле. Немного подождав, направился к следующей яме, но не успел встать с колен, как увидел стоящих над ямой двух мужчин. От неожиданности я вздрогнул. Но не только от неожиданности и не только оттого, что впервые встретил здесь людей. Мужчины удивительно походили друг на друга! Одинакового роста, в одинаковых темных костюмах и в одинаковых шляпах, они безучастно рассматривали окружающие кусты и деревья. Откуда они взялись и что здесь делают? Через минуту я пришел в себя, решил: стоят и пусть себе стоят. В конце концов каждый имеет право прийти сюда, стоять или ходить, где ему вздумается.

Отряхнулся, выбрался из первой ямы и пошел к следующей, срывая по дороге цветы и связывая их в букет. Снова спустился, снова уложил цветы и снова... увидел ту же пару. Что же они все-таки здесь делают? Решил — надо посмотреть. Сделал вид, что прилег отдохнуть, и стал сквозь траву наблюдать за пришельцами.

Один из двойников спустился в ту яму, из которой я только что выбрался, поднял мой букет, распотрошил его, швырнул на землю.

— Ну что? — спросил, тот что остался стоять наверху.

— Ни черта, — ответил первый и принялся выбирать из ямы.

Я встал, быстро зашагал к следующей яме, делая вид, что не замечаю этих двоих. Близнецы следовали за мной,

но вдруг куда-то исчезли. Я решил, что на сегодня хватит, и направился на остановку автобуса. Что делали здесь это типы, и почему они так похожи друг на друга? Весь день я пытался разгадать эту загадку, но так ничего и не придумал. На другой день я уже забыл о призраках-двойниках. Мысли мои были заняты другим: понравится ли Цареву статья? Опубликуют ли ее? А если да, поможет ли мне это вернуться в Ленинград и поступить в аспирантуру?

На землю меня вернул председатель нашей артели. Здоровенный мужик грозного вида, он прежде меня не замечал и никогда со мной не здоровался. На этот раз, как только я открыл дверь, он тут же заорал:

— Ты что опаздываешь, ексель-моксель! Шляешься, где ни попадя, а тут отвечай... Теперь чтобы каждый день отмечался в конторе: когда пришел, когда ушел на обед, когда закончил работу. Делать мне нечего, как за вами смотреть, мать вашу так!

Я растерялся: за год работы в артели никогда не видел, чтоб кто-то здесь отмечался. Нужно прийти раньше — приходи, нужно остаться — останься. Но чтоб отмечаться? Такого не было!

Как-то вдруг, без всякого на то повода, изменили отношение ко мне соседи. Раньше, бывало, столкнешься с кем-нибудь на лестнице, обязательно спросят: как дела, не нужно ли чего? Теперь же, завидя меня издали, все спешили укрыться за своими дверьми.

Мотоцикл возник около меня так неожиданно, словно свалился с неба. Молодой милиционер ловко соскочил с заднего сиденья, крепко ухватил меня за локоть:

— Проедемте, гражданин, сядем в коляску!

— Зачем, что случилось?

— Садитесь! Там объяснят.

Милиционер постарше, что сидел за рулем, дал газ, мотоцикл рванулся с места и уже через десять минут подъехал

к боковой двери большого, всем известного в Вильнюсе дома. Того самого, где когда-то квартировала польская охранка, потом гестапо, а нынче — НКВД.

Молоденький милиционер так же проворно соскочил со своего сидения, так же цепко ухватил меня за локоть и провел внутрь здания. Там он передал меня охраннику. Тот отпер дверь с табличкой «Приемная», велел ждать: «За вами придут!»

Минут через двадцать дверь открылась, поджарый мужчина в пиджаке и галстукe устало махнул рукой: «Пошли со мной». По широкой мраморной лестнице мы поднялись на второй, а может быть, на третий этаж и направились вдоль коридора с бесконечным количеством дверей. Около одной из них мой провожатый остановился, открыл ее маленьким ключиком, велел пройти, сесть на стул и ждать.

Ждать пришлось долго. Может быть, час, может, полтора. От волнения и неизвестности я совсем было пришел в отчаяние, но тут дверь открылась; в комнату деловой походкой вошел полный круглолицый мужчина средних лет. Он тоже был в пиджаке и галстукe.

Толстяк уселся за письменный стол и внимательно меня оглядел:

— Так вот вы какой! Ну, рассказывайте!

— Что рассказывать?

— Все. И по порядку.

— Я не понимаю...

— Ах, вы не понимаете! Вот и мы не понимаем некоторых особенностей вашего поведения.

— Какие у меня особенности? Живу, работаю. Как все.

— Ну, ясно, старая песня: не понимаю, не помню. Тогда я вам кое-что напомним. Кто вас спас от немецко-фашистских захватчиков? Наша советская родина! В Ленинград вас вывезли и тем самым спасли вам жизнь. И там снова вас спасли. Знаете, сколько в блокаду людей погибло? Сотни тысяч. То-то и оно! А ты — жив-здоров. А какое

образование тебе дали? Подумать только — Ленинградский политехнический институт! Да и секретную специальность доверили. А ты? Диплом получил и вместо того, чтобы трудиться на благо родины, отдавать, так сказать, долг, что ты делаешь? Уматываешь в провинцию, устраиваешься в какую-то вшивую контору электромонтером и... И? Я тебя спрашиваю, черт возьми!

— Что и?

— И подпольно занимаешься исследованиями в секретной области по заданию...?

— По какому заданию?

— Вот на этот вопрос ты мне сейчас и ответишь. Кто дал тебе задание заниматься секретными исследованиями, кому ты пересылал материалы особой важности? Не молчать! Говорить!

Допрос продолжался часа три. Следователь курил одну папиросу за другой, непрерывно стучал по столу, грозил «стереть в порошок», «дать вышку».

— Мы все знаем, всю цепочку знаем! И твою роль знаем. Кто по заданию лондонского центра проник в научно-исследовательские центры в Ленинграде? Кому ты передавал секретные отчеты у нас в Литве? Отвечай, сволочь! Если назовешь имя резидента в Литве, отделаешься десяткой, будешь молчать — получишь вышку. Понял, скотина?

Следователь распалялся, входил в раж, а я думал: когда же начнет бить? Надо полагать, думал об этом и следователь. Покричав еще с полчаса, он встал из-за стола, подошел ко мне вплотную:

— Так будешь говорить, сучье отродье, или прямо сейчас вести тебя в подвал?

— Я не знаю, что говорить...

Следователь размахнулся и отвесил мне такую пощечину, что из глаз посыпались искры.

После этого он вернулся к столу, молча выкурил папиросу, тщательно растер окурок в большой мраморной пепельнице и спокойным тоном завершил допрос:

— Плохо. Не хочешь говорить правду, не хочешь нам помочь. Чую, пропадешь ты, честное слово, пропадешь. И за что? Чтобы выгородить подонков и предателей? Дурак. Я-то думал, ты умный, а ты — дурак. Ладно, сейчас я тебя отпущу, ты у меня пока в свидетелях. Иди домой и думай. Хорошо думай. Скоро снова вызову.

Выпустили меня через главный вход прямо на проспект. Ноги подкашивались, во рту пересохло, голова шла кругом. Я долго стоял на остановке, а когда, наконец, вошел в троллейбус, заметил, что следом за мной вошли те двое, удивительно похожие друг на друга...

Дрот сказал: «Раз после допроса выпустили, значит, концы ищут, хотят посмотреть, с кем будешь встречаться, о чем писать своему профессору. А что пасут в открытую, так это на мозги давят, чтобы потом легче было колоть. Но ты смотри, парень, главное — ничего не подписывай и слов произноси как можно меньше. Пусть смертным боем бьют, тверди одно: ничего не знаю, ни в чем не виноват! Скажешь хоть одно слово, назовешь хоть одно имя, они из тебя другие каленым железом вытянут. Если же не расколешься, дадут ерунду — десятку какую! Это не страшно, ты парнишка неизбалованный, на пайку проживешь».

По совету Дрота уничтожил «компромат»: письма Царева и свое письмо Лазику, что вернулось обратно. Цареву решил пока не писать.

На следующий допрос меня вызвали повесткой. Я написал в конторской книге: «Отлучился в милицию» и ровно к десяти явился в ту самую проходную, куда меня в прошлый раз привезли милиционеры.

Процедура повторилась: сначала я ждал в приемной, потом ждал в кабинете, потом туда деловой походкой вошел следователь. Другой следователь. Молодой, очень высокий, очень бледный и совсем лысый. Его скорее можно было принять за марсианина, чем за следователя НКВД.

Марсианин уселся за стол, начал рыться в бумагах и как бы между прочим заметил:

— Майор Круглов сегодня занят, просил меня тобой заняться.

Говорил следователь с сильным литовским акцентом, а писать ему, видимо, было труднее, чем говорить. Во всяком случае, когда дело дошло до протокола, он то и дело что-то зачеркивал, переписывал, при этом пыхтел, краснел и совсем не к месту изрыгал всевозможные ругательства:

— Ты что это в Панеряй так часто ходишь?

— Родителей навещаю.

— Родителей, родителей! Все к родителям ходят. Я тоже на Веленяс<sup>1</sup> отца навещаю, — тут он спохватился, покраснел и добавил: — мать сопровождаю. Но ты-то чуть ли не каждый день там бываешь. То одни ямы посещаешь, то другие, то в одну яму букет положишь, то в другую. Это что, условный сигнал?

— Какой сигнал! Я же не знаю, в какой яме мои лежат, вот все и навещаю. А что часто бываю, так ведь я работаю рядом.

— С чего ты вообще взял, что твои родители в Панеряй расстреляны? У нас другие сведения.

— Как другие?

— А такие, что твою семью выкупили из гетто. Отец твоей матери барон Гинцбург из Лондона заплатил фашистам большие деньги, и твоим разрешили выехать в Швецию.

— Мой дедушка вовсе не барон, а просто однофамилец.

Следователь выдавил из себя что-то вроде улыбки:

— Да ладно врать. Я ведь тоже каунасский, мне-то ты чего врешь? Тем более что здесь, — следователь постучал пальцем по толстой папке, — свидетельства от самых близких к твоей семье людей. Мы все знаем, все! И почему

<sup>1</sup> Пер Веленяс — религиозный литовский праздник, восходящий к дохристианской традиции. В этот день верующим литовцам положено посещать могилы родителей.

твой отец бежал из советской России, знаем. И что в Литве встал на сторону буржуазных националистов, посещал резиденцию президента-фашиста, в английском посольстве был своим человеком, знаем. Но тебя мы не обвиняем, ты ведь тогда совсем мальчишкой был. По секрету скажу, лично я ничего плохого в том, что ты с отцом переписываешься, не вижу. Отец — он и в Лондоне отец. Только зачем секретные материалы ему пересылаешь? Тут ты сильно влип. Это же тянет на шпионаж! Майор на тебя страшно зол, хочет перевести тебя из свидетелей в обвиняемые. Но я уверен, что тебя втемную использовали. Я тебе помогу, не пропадать же тебе в лагерях! Давай сделаем так, ты напиши все подробно, как было: кто давал задание, кто передавал материалы, через кого ты переправлял их отцу в Лондон, с кем там твой отец связан. Ну, а уговорю майора вывести тебя из дела. Живи себе и переписывайся с отцом, сколько хочешь, — у нас это не запрещено. Договорились?

Следователь-марсианин встал, прошелся по кабинету, потом, довольный собой, вернулся к столу, долго еще что-то писал, чиркал и снова писал. Наконец он протянул мне протокол: «Подпиши-ка!» Я отрицательно покачал головой.

Лысина следователя покраснела, жилы на лбу налились кровью:

— Ну, и собака же ты! Я что, впустую с тобой три часа возился?

Я приготовился к худшему, но его не последовало. Марсианин немного выждал, потом поднялся со стула и жестом показал — идем.

Я снова вышел на проспект, снова сел в троллейбус, снова увидел своих духов.

Дрот сказал: «Ясное дело, Цареву шьют шпионаж. Он воровал секретные материалы и по цепочке — через тебя

и твоего отца в Лондоне — переправлял английской разведке».

Я сказал: «Неужели вы не понимаете, что это абсолютная чушь? Еще до войны ходили сплетни, что моя мать из семейства барона Гинцбурга. Но это — вранье. Да и как родители могли уцелеть, кто их выкупил? Дедушка ведь умер до войны. И не в Лондоне, а в Риге».

Дрот сказал: «Эх, братишка, ничего ты не понимаешь. Следователям наплевать, жив твой отец или нет. Им главное — дело состряпать. Они тебя расколуют на пустяке, скажем, признаешься, что с родителями переписывался, этого и достаточно — цепочка готова. Царева упекут на четвертак, а то и вышку дадут. И от тебя постараются избавиться. Им лучше, чтоб показания твои были, а тебя не было».

На допрос меня не вызывали, но топтуны следовали неотступно, дежурили у ворот дома, ждали у проходной на фабрике, торчали у входа в библиотеку. Иногда двойняшек сменяла пожилая пара, иногда — молодая. Я всех уже знал в лицо, слежку чувствовал спиной, однако сказать, что перестал на нее реагировать, не могу. Конечно, я больше не терял самообладания и не ударялся в панику. Но одна мысль не давала покоя: когда это кончится? И кончится ли вообще? И не лучше ли было бы, чтобы меня, наконец, арестовали и отправили на пайку?

Новый, 1953, год я встречал в одиночестве. Моню, Наума, Мишу перестал посещать после первого же допроса. При этом догадывался, что они обо мне думают: устроился, мол, парень, и забыл тех, кто ему помог. Но уж лучше пусть плохо обо мне думают, чем подставлять их под удар. Не случайно ведь следователь-марсианин как бы между прочим спросил: «Кто помог тебе устроиться в Вильнюсе?»

Итак, в новогоднюю ночь я лежал на кровати, слушал, как соседи стреляли шампанским и кричали «ура», как выбегали на лестницу дети, как гонялись за ними родите-

ли. Слушал и думал: что год грядущий мне готовит? Головой понимал — тюрьму, но верить не хотелось. Я убеждал себя, что чудеса случаются, что вот и в сорок первом казалось, будто все кончено. Но ведь пронесло! И в сорок третьем я умирал от голода. Но ведь выжил! Может, пронесет и на этот раз.

С этой мыслью я и заснул.

Февральские дни были короткими, но тянулись бесконечно долго. Почему? Быть может, от постоянного ожидания ареста: топтуны дышали в затылок и всем своим видом демонстрировали — час приближается...

Наступил март. Холода спали, светлеть стало раньше, днем нет-нет да пробивались сквозь облака лучики весеннего солнца. Вдруг пришла мысль: а не преувеличивает ли Дрот, не сгущает ли он краски? Может быть, какие-то шпионы и в самом деле украли там, в Ленинграде, секретные материалы, а подозрение пало на Царева и на меня? Но, если найдут виновников, если убедятся, что мы к этому не причастны, нас оставят в покое?

В один из мартовских дней я, как обычно, встал ни свет ни заря, умылся, сунул в карман заготовленные с вечера бутерброды и помчался на остановку. Работы было много, до обеда я менял проводку в коридорах, потом возился на крыше. После работы поехал в город, стоял в очереди за селедкой, варил дома картошку. Поужинал и прилег на кровать. И вдруг спохватился: чего-то сегодня не хватает. Но чего?

Когда на утро следующего дня я подходил к автобусной остановке, обратил внимание, что стоявшая там толпа ведет себя необычно. Как правило, понурые и молчаливые с утра люди наперебой говорят друг с другом, машут руками, вздыхают и охают: «Надо же, какое горе!», «Ужас, просто ужас!», «И что сейчас будет?»

Что произошло?

Не успел я войти в цех, как раздалась команда: «Все в зал, все на собрание!» Там, на собрании, я узнал, что произошло. Умер Сталин.

Все плакали, переживали, и только я не мог заставить себя предаться всеобщему горю. Хорошо это для меня или плохо? Арестуют или, напротив, оставят в покое? Я стал рассуждать сам с собой и пришел к выводу: станет хуже. Но только подумал об этом, как тут же понял, чего мне вчера не доставало. Вчера со мной не было топтунов. Да, да, я не мог ошибиться — их не было!

Миша сказал: «Парня пора женить. Негоже ему в одиночку мыкаться. Придет в семью, будет жить, как человек. У тебя Наум никого нет на примете?»

Наум сказал: «У Кацаса с мясокомбината дочка на выданье. Девчонка неплохая, в универмаге работает. Но ему, небось, нужно, чтоб книжки читала, разговоры разговаривала. Такую пусть сам ищет».

Миша сказал: «Книжки-шмишки — великое дело! Главное, чтобы девица была порядочная и семья хорошая. Ты, Йорам, кого-то имеешь?»

Йорам сказал: «Откуда я имею? Это по Мониной части».

Моня сказал: «Мои дамы за голодранца не пойдут, им денежного мужика подавай».

Миша сказал: «Ладно, чувствую, без Дрота не обойтись».

О женитьбе я не думал, а думал о том, как бы найти работу по специальности. Радиотехники, однако, нигде не требовались. Правда, в Палате мер и весов предложили должность прибориста. Я колебался и решил посоветоваться с Дротом. К моему удивлению, и он запел ту же песню — женись! И не просто женись, а непременно на польке.

- Почему на польке?
- Чтобы чухнуть.
- Куда чухнуть?
- В Польшу, само собой.
- Зачем мне Польша?
- Чтобы оттуда чухнуть.

— Зачем мне куда-то уезжать? Меня, может быть, в Палату мер и весов возьмут.

— Дурак ты, братец, — Дрот посмотрел на меня недобрым глазом и хлопнул дверью.

Мысли женить меня на польке он, однако, не оставил и однажды, запыхавшись, ворвался в мою каморку.

— Быстрее одевайся, рубашку надень чистую, едем девку смотреть. Для меня она слишком молодая, а тебе — в самый раз. Девчонка, между прочим, вполне ничего себе. На такой можно и взаправду жениться. А не захочешь, поживешь с ней годок и чухнешь.

Дрот чуть ли не силой заставил меня одеться и притащил в какую-то большую и дорого обставленную квартиру.

Отец невесты, маленький человечек, похожий одновременно и на Мишу, и на Наума, и на Йорама, осмотрел меня с ног до головы:

— Ты, правда, инженер? Хмы! И диплома имеешь?

В первые дни войны потенциальный тесть умудрился бежать из своего польского местечка, все военные годы провел в Узбекистане и научился там кое-как говорить по-русски:

— Это хорошо. Инженер у нас хорошо и в Палестине хорошо. Если захотите. Теперь я скажу тебе за мою дочку. Ты не думай, что я хочу подсунуть тебе гнилой товар. Совсем нет. Она и красавица, и умница. В том и беда! Городок у нас маленький, наших парней совсем не осталось, а гойские вокруг нее так и крутятся, так и крутятся! Тут и до греха недалеко. Вот я и хочу ее выдать за нашего парня, и поезжайте себе в Палестину. Сам я не поеду, но вам помогу.

Невеста оказалась худенькой, стройной, очень приятной на вид девушкой лет двадцати. На ней было светлое платье в горошек и лакированные белые туфельки. Свадьба смущала ее не меньше, чем меня. Она явно не знала, как стоять, куда деть руки, что говорить и на каком языке. Мне стало неловко, я протянул ей руку и сказал несколько слов по-польски. Она посмотрела на меня с

благодарностью и протянула свои тоненькие белые пальчики. Папаша от удивления открыл рот, но тут в глазах его мелькнула хитринка, он замахал руками и стал толкать нас в другую комнату:

— Идите, идите и говорите себе, сколько хотите.

Девушку звали Тоша, она училась на медсестру и исполняла роль хозяйки дома — мать ее несколько лет назад умерла.

— Вы не думайте, это все папа. Он вбил себе в голову, что меня нужно выдать за парня из России и отправить в Израиль. Но я его не оставлю. Он ведь только делает вид, что большой герой. На самом деле он совсем беспомощный и очень больной. У меня много друзей в Израиле. Им там хорошо и весело. И мой лучший друг тоже там. Он в каждом письме меня зовет. Но папе туда нельзя, у него сердце, и остаться один он тоже не может. Если вы хотите в Израиль, пожалуйста, найдите себе другую девушку. У нас все девушки мечтают выйти за образованного русского.

На глаза Тоши навернулись слезы.

— Ну что вы, что вы, — я готов был провалиться сквозь землю, — я вовсе не собираюсь вас обманывать. Я вообще оказался здесь случайно. Я ведь совсем один — мама, папа и сестра погибли, вот все знакомые и стараются меня женить. Но я не собираюсь жениться. И уезжать не собираюсь. Больше всего мне хочется вернуться в Ленинград, в ту лабораторию, где я начинал мою работу. Мы там делали большую науку. Правда, правда. А вы знаете, кто мой профессор? Он ученый с мировым именем!

Тоша перестала плакать, ее почти детское личико сделалось серьезным и... невероятно красивым.

— Спасибо вам, вы хороший. Я очень хочу, чтобы у вас все получилось так, как вы задумали. Я буду за вас молиться.

По всей видимости, Господь услышал молитвы этого хрупкого существа. Через неделю я получил письмо от Царева, а еще через две от перрона вильнюсского вокзала

отошел длинный состав. Пыхтящий и гудящий паровоз тянул его в северную столицу. Я устроился на верхней полке.

### *Глава пятая*

Профессор Царев сказал: «Вы даже не представляете, как я обрадовался, получив вашу статью. И то верно, преданность науке доказывают, не сидя на жирном окладе, а как вы, в нелегких условиях. Да, было... Вот и мы с Валерией Сергеевной чемоданчик с теплым бельем постоянно держали наготове. Теперь, слава Богу, все позади, надо работать, надо наверстать упущенное. Так что вы должны включиться в работу немедленно».

Валерия Сергеевна сказала: «Немедленно? А на что он будет жить? Да и кто его пропишет в Ленинграде!»

Профессор Царев сказал: «Поступит в аспирантуру, и все проблемы решатся сами собой. Бондаренко выгнали, палки в колеса ставить никто не будет».

Валерия Сергеевна сказала: «Во-первых, Бондаренко не выгнали, а временно отстранили. Во-вторых, что-то меня никто не спешит вернуть в институт».

Профессор Царев сказал: «Наберись же ты, Лера, терпения! Скоро придет новый ректор, он и расчистит авгиевы конюшни».

До экзаменов в аспирантуру оставался месяц. Я жил у Царевых, помогал Лере по хозяйству, нянчил детей, когда она ложилась в постель с мигренью, но большую часть времени просиживал за книгами. Признаюсь, я нервничал. Сдавать предстояло специальность, иностранный язык и историю КПСС. Но что будут спрашивать по специальности? Волны, лампы или кванты? Я боялся что-то упустить — прошло целых три года с тех пор, как я в пос-

ледный раз открывал учебник! Больше всего, однако, страшил экзамен по истории партии. Когда был съезд такой-то и такой-то? Что на нем решили? Кто был оппортунистом, кто — соглашателем, кто — ревизионистом? Все это наводило жуткую тоску и, главное, никак не держалось в голове.

Спасение пришло неожиданно. Сижу однажды на кухне, тупо уткнувшись в учебник истории КПСС, а тут входит Царев, загадочно ухмыляется и говорит:

— Выбросьте эту книгу, молодой человек, она вам больше не понадобится, экзамен по истории партии отменили.

Прозвучало это так: «Вы приняты!»

Я долго не мог поверить своему счастью. По ночам мне снилось, будто вхожу я в институт, а у дверей стоит милиционер. Он хватает меня за локоть и ведет в кабинет декана. За столом Бондаренко. Декан впивается в меня своими острыми глазенками и цедит сквозь зубы: «Тебя приняли по ошибке. Немедленно сдай пропуск, и чтобы ноги твоей здесь не было!» Я просыпался в поту, всю ночь ворочался с боку на бок, а днем ходил разбитым, не мог сосредоточиться. Если и открывал книгу, то уже через полчаса текст 'сливался, исчезал, а на его месте появлялись то бледные губы Бондаренко, то лысина следователя-марсианина. И в лаборатории все у меня валилось из рук.

Царев недовольства не скрывал:

— Хватит раскачиваться, молодой человек, начинайте работать в полную силу. Вы что думаете, три года — это много? Не успеете оглянуться, как они пролетят!

Три, а точнее — четыре года, пролетели как один день. На чтение литературы, на теоретическое обоснование и расчеты ушло года два. Потом начались эксперименты, результаты которых обсуждали на семинарах, требовали проверять вновь и вновь. Наконец, я начал писать диссертацию. Писал, писал и написал целый гроссбух. Гроссбух передали рецензенту и только тогда допустили к защите.

Защищаться я должен был в Московском университете — Царев решил, так оно будет лучше.

Он не ошибся.

Когда я закончил читать доклад и ответил на все вопросы, председатель Ученого совета оглядел собравшихся, сказал: «Ну что ж, на этом закончим». Подошел Царев, подходили другие люди, пожимали руку, говорили какие-то слова, которые я плохо воспринимал. Наконец с последнего ряда поднялся хорошо одетый и тщательно причесанный молодой человек и протянул мне руку:

— Поздравляю, старик, очень за тебя рад.

Я по инерции буркнул «спасибо», но он не отпустил мою руку. Я взглянул на него и чуть не обмер: Лазик! Это же Лазик!

Какое-то время мы стояли, молча смотрели друг на друга, а потом обнялись — и у него, и у меня на глаза навернулись слезы.

— Откуда ты взялся, как узнал о моей защите?

— Так ведь я здесь в аспирантуре. На днях захожу в фойе и вижу на доске объявлений твою фамилию. Сначала не поверил, еще раз перечитал. Точно, Ленинградский политехнический институт, кафедра «Электровакuumные приборы». Ты, кто же еще! Где ты остановился, старик?

— В аспирантском общежитии, сейчас соберу свое добро, и пойдём ко мне.

Мы спустились в буфет, купили чая, печенья, булочек и отправились в мою комнату. Пока я ставил чайник, Лазик, засучив рукава, накрывал на стол.

— Ну, рассказывай. Ты исчез первым, первым и рассказывай.

— Нет, это ты первым пропал, я-то тебе писал, но письмо вернулось.

Из Московского университета Лазика забрал Секретарь. Приехал в декабре 1951-го, сказал: «Диплом ты уже защитил, делать тебе здесь больше нечего, собирай вещи».

Секретарь отвез Лазика в Вильнюс, но в литовской столице не оставил, отправил его в провинцию, в Паневежис, где определил младшим редактором в местной газетке.

— Если бы ты знал, старик, что это была за скучища! Целыми днями статьи писал за председателей колхозов и передовиков производства. С ума можно было сойти!

— Как обидно! Я ведь тогда был в Вильнюсе. Могли встречаться по выходным...

Не могли! Секретарь не только запер Лазика в кабинке, но и запретил ему общаться с прежними знакомыми. «Никаких дочек министров и внуков маршалов. Работа и дом, дом и работа. По воскресеньям — кино. И все, точка!»

Даже когда Сталин умер, Секретарь не сразу отпустил Лазика в Москву. Лишь после того, когда разоблачать культ личности вождя начали в центральных газетах, приемный отец сказал: «Теперь можно» — и снабдил Лазика письмами, благодаря которым его без экзаменов приняли в аспирантуру юрфака Московского университета.

Лазик писал диссертацию по международному праву и попытался было растолковать мне смысл своей работы. Я внимательно его слушал, ничего не понимал и все время думал: неужели это тот самый Лазик, с которым мы мальчишками проводили лето в Паланге, потом добирались в Ленинград в трюме неуклюжего баркаса, потом доходили от голода в ремесленном училище, потом оббивали руки в кровь на Металлическом заводе!

Лазик тем временем перешел к своему житью-бытью:

— Ты не представляешь, старик, что за народ собрался на нашей кафедре. Шеф — член ЦК. На Старую площадь ходит, как к себе домой, а если нужно, может и к Генеральному попасть. А в Штаты для него съездить, что плюнуть. И вообще у нас все сотрудники выездные.

— Какие?

— Выездные. Ну, те, кто за границу могут ездить. А вообще-то, — Лазик посмотрел на меня с сожалением, — тебе

надо кровь из носу ко мне выбратся. Давай прямо сейчас договоримся, я закажу пропуск — ко мне в поспредскую гостиницу так просто людей не пускают.

— Может быть, в другой раз. У меня и времени-то всего неделя.

— Нет, нет, это нельзя откладывать. Тем более что Мери я о тебе давно уже рассказал. Она, конечно, думает, что я все наплел. То-то теперь удивится! Между прочим, ты знаешь, кто у нас папаша? Министр. Да, да. Хоть и третьей категории, зато двадцать лет в Совмине. Все ходы-выходы знает. Захочет Мери в Варшаву, он трубочку снимет — на тебе Варшаву. Захочет — в Прагу, нет проблем!

...Стройная высокая блондинка в черном бархатном пиджачке, мужском галстуке и сужающихся книзу брюках смотрела на меня с любопытством. Мне показалось, что где-то я ее уже видел. Кажется, в каком-то польском фильме. Киносущество протянуло руку:

— Марьяна. Так вот вы какой! Мне Лаз про вас столько рассказывал! Будто вы приемник можете своими руками сделать. Это правда?

— Лазик преувеличивает. Просто мы, экспериментаторы, привыкли...

— А вино вы пьете белое или красное?

— Я вообще не пью.

— Лаз, а Лаз! Твой товарищ — зануда и абстинент. Его надо познакомить с Алкой. Вот будет пара!

Пока я проводил время в обществе Лазика, профессор Царев навещал старых друзей. В друзьях же у него были люди, чьи имена знала вся страна. И надо же, он — академик, лауреат всяческих премий, во всех газетах портреты, а Царев ему: «Женя, как ты там скрипишь?» Выходило, что чуть ли не все научные светила — друзья Царева со студенческой скамьи.

Наступил день отъезда. Мы встретились на вокзале, устроились в купе «Красной стрелы», перевели дух. Царев

выглядел уставшим, в глазах у него, однако, поблескивали радостные огоньки.

— Многих успел повидать, многое сумел сделать, в том числе и для вас. Во всяком случае, два места вам обеспечены.

Разговор о том, что мне пора перебираться в Москву, Царев заводил не впервые. Я же всерьез разговоры эти не воспринимал, отделялся замечаниями, вроде того, что и без меня Москва обойдется. Царев неодобрительно мотал головой:

— Все только и рвутся в Москву, а вы нос воротите!

Уезжать я не хотел. Не мог даже представить себе жизни вне Ленинграда. Но не потому, что был патриотом северной столицы. Город знал плохо, достопримечательностями его не интересовался, в знаменитые музеи не ходил. Почему? Мне и самому было трудно ответить на этот вопрос. Возможно, в глубине души я боялся, что когда-нибудь меня из Питера снова выгонят, и не хотел принимать этот город в свое сердце.

Другое дело — кафедра и лаборатория. Там я чувствовал себя дома. И еще я чувствовал себя дома у Царевых. И старшие, и младшие, они считали меня членом семьи, никаких проблем у нас не возникало, никаких кошек между нами не пробегало. Так почему же Виктор Георгиевич пытается вытолкнуть меня в Москву?

После защиты Царев стал особенно настойчив. «Вы написали туда-то? Вы получили ответ оттуда-то?» Я понял, что он настроен решительно, и отважился на откровенный разговор:

— Если вы думаете, что я претендую на должность доцента на кафедре или старшего научного сотрудника в лаборатории, это не так. Мне достаточно и младшего. А могу и просто — инженером.

Царев призвал Валерию Сергеевну, разговор повел серьезно:

— Ну что вы за человек, право! Вам бы зарыться в норку, уйти с головой в любимое дело и ничего вокруг не ви-

деть. Так, любезный мой, жизнь не проживешь. Вы, конечно, не обратили внимания, как наши верхи изменили отношение к науке? Зря не обратили. Они ведь теперь перед учеными чуть ли не на брюхе ползают. А почему? Да потому, что, пока мы шпионов ловили и космополитов искореняли, мир ушел далеко вперед. Конечно, атомная бомба у нас есть, и мы то и дело грозимся сбросить ее на Нью-Йорк или на Вашингтон. А как ее туда доставить? Самолетом? Но пока наши тихоходы до Америки долетят, их сто раз собьют. Или другое. Взяли наши руководители моду с западными президентами встречаться и выглядеть при этом хотят солидно, на равных. Но те на реактивных красавцах прилетают, а наши — на пропеллерном старье. Так что теперь они стараются Америку догнать и перегнать и ничего для этого не жалеют.

— Что-то я не заметил, чтобы нам денег не жалели. У нас в лаборатории буквально все в дефиците. А если надо что-то сделать, то только за спирт. Вы же знаете, без него — ни шагу.

— Это верно. Золотой дождь начальство обрушило исключительно на Москву. Чтоб поближе к себе было. В Подмосковье целые научные города строят. Дубна, Протвино, Пущино — это же чудеса из чудес! Там все на американский манер: лаборатории просторные, оборудование импортное, жилье для сотрудников, школы для детей. Словом, делай науку и ни о чем не думай! Но вы правы, нам ничего не перепадает. Ленинград на верхах как не любили, так и не любят. Так что когда я уйду на пенсию, кафедру либо закроют, либо превратят в чисто учебную.

— Но ведь в Москве никто лампами всерьез не занимается, что мне там делать? — пустил я в ход последний аргумент.

— Ах, молодой человек, неужели вы не понимаете, что век ламп подходит к концу? Ну, впаяете вы еще один электрод, ну, постройте еще один пентод или гексод, но это уже не наука, это — техника. Хотите всю жизнь что-то исправ-

лять и улучшать? Хотите сделаться технарем? Пожалуйста! Только наука — это другое, это постоянное расширение горизонтов, это работа на будущее. А будущее за полупроводниками, сверхпроводимостью, нелинейной оптикой. И учтите, новые науки рождаются на стыке старых. Вам здесь и карты в руки!

Лера горячо мужа поддержала.

— Вы же знаете, как мы к вам привязаны. И детям, и нам будет вас очень не хватать. Но вы должны работать там, где у вас есть перспектива. Через два года Витю выдадут на пенсию, что тогда? Чего доброго, пришлют нового Бондаренко, тогда вам не удержаться.

Лера расплакалась, мне стало стыдно — какой же я все-таки инертный и непонятливый!

Научный оазис под названием «Красноголовка» расположился в ста километрах от Москвы, вблизи одноименной деревушки, убогость которой открывалась уже из окна электрички. Впрочем, новой Красноголовке еще только предстояло стать оазисом. А пока что в центре огромного пустыря высилось здание из стекла и бетона, у входа в которое скромная табличка оповещала посетителей, что они явились в Институт прикладной оптики Академии наук СССР. Километрах в двух от института кучковались близнецы-пятиэтажки. Официально это скопище домов называлось Академический поселок, в быту же его именовали просто — Черемушки. От поселка к станции вела усыпанная мелким и крупным гравием дорога, по которой, поднимая в поднебесье клубы пыли, курсировал автобус. Правда, курсировал он, когда ему вздумается, так что обитатели поселка, увешанные сумками и сетками с московским уловом, предпочитали тащиться со станции пешком.

Самое же удивительное состояло в том, что окруженный со всех сторон лесами, речушками и озерцами оазис наш был начисто лишен зелени. Все растущее и цветущее

вырубалось здесь тщательно и с особым рвением. Устроители поселка всеми силами старались доказать гостям и сотрудникам: из Москвы вы не выезжали!

Мне выделили комнату в пятикомнатной квартире. Квартира была довольно миниатюрной, предназначалась для одной семьи, поселили же туда целых три: две большие, многодетные, и одну маленькую. Маленькая — это я. Какое отношение обитатели этой квартиры имели к нашему институту, я не понял, зато понял, что места на крошечной кухне для меня не найдется. Да я его и не искал, чайник держал в комнате и ставил на плиту, когда соседи ложились спать. И все же я был счастлив: впервые в жизни у меня было собственное жилье!

Начальника моей лаборатории звали Борис Васильевич Панкратов. Он был немолод, но очень энергичен, работоспособен и... болезненно справедлив. Поговаривали, что за это — правду-матку — он в свое время и пострадал. Правда, тянуть срок ему не пришлось, но прекрасного специалиста по светотехнике дальше Уфы не пускали, выше начальника заводской лаборатории не поднимали, в академических журналах не печатали. Как отыскал его наш директор, почему поставил руководить лабораторией когерентного излучения, никто не знал, но, что в выборе своем он не ошибся, всем было ясно. Большой опыт, неимоверное трудолюбие и почти детское любопытство помогли Панкратову освоить дело, новое и совсем не простое.

Меня Панкратов почему-то не полюбил. Это «почему-то» он держал при себе, относился ко мне, как и должно начальнику относиться к подчиненному, который пропадает на работе с утра до вечера и при том выдает неплохие результаты. А вот нелюбви к нашим девицам, которых засунули в институт их властные папы, Панкратов не скрывал. Более всего он раздражался, когда наши модницы табуном отправлялись в туалет, где шла торговля заграничными шмотками. Топот десятка женских каблучков выводил его из себя: Панкратов краснел, бледнел, по-

крывался испариной, но сдерживался, ограничиваясь тем, что демонстративно игнорировал женскую половину лаборатории. И еще не любил Панкратов участвовать в разговорах «у них — у нас». Но, если ему все же доводилось при таких разговорах присутствовать, говорил всегда одно и то же:

— Верно, у них умеют физику делать. И автомобили у них лучше, чем у нас, но вы слышали когда-нибудь, чтобы на Западе сын пахаря возглавлял научную лабораторию? А вот мой отец землю пахал. Так-то, за деревьями, молодые люди, леса не видите!

Между тем работы в лаборатории было невпроворот. Чуть ли не каждый день грузчики втаскивали к нам плотно сколоченные ящики с надписями на иностранных языках. Это был то японский электронный микроскоп, то — французская печь для выращивания кристаллов, то — английский масс-спектрограф. Зарубежную технику должны были монтировать фирмы-изготовители, но валюту у нас экономили, иностранцев в Красноголовку не пускали, работу за них мы делали сами. Делали ее с удовольствием, не переставая восхищаться всем, начиная с упаковки. И верно, наши приборы заворачивали в бумагу и укладывали в стружку, заграничные укладывали в пенопласт, а потом запаивали в пластик. Особое же удовольствие доставляли нам крошечные фонарики, изящные ключики и отвертки, которые прилагались к приборам просто так, за здорово живешь: И все же возни с заграничной техникой было много, но, когда она заработала, детские восторги относительно фонариков и ключиков отошли на задний план.

И верно, когда кристаллографы принесли мне рубиновый стержень, выращенный во французской печи из швейцарского порошка, я и предположить не мог, что мощность его излучения увеличится на порядок по сравнению с нашим стерженьком такого же размера. Не мог и по неосторожности прожечь рукав пиджака. В лаборатории

запахло гарью, все заволновались, но как только поняли, что произошло, принялись меня поздравлять.

Подошел Панкратов, «официально» предупредил меня о необходимости соблюдать технику безопасности, но потом улыбнулся, пожал руку и высказался в том роде, что теперь, дескать, и у наших дам появилась работа — зашить мне пиджак. Затем он наморщил лоб, почесал в затылке:

— Вот что, займитесь-ка вы сейчас демонстрационным стендом, мы должны показать кое-кому, что недаром поедаем хлеб.

Кое-кто — это Шеф и другое институтское начальство.

Его, начальства, а также других желающих посмотреть на «лазерную пушку», набилось в лабораторию множество. Зажатый в плотное кольцо любопытных, я достал из кармана пятикопеечную монетку, словно фокусник, продемонстрировал ее публике, потом зажал в тиски. Панкратов скомандовал:

— Приступайте!

Я включил питание. Удар, треск, монетка закрылась черным дымком. Не спеша, вынул медяшку из тисков, сострил по поводу того, что теперь меня могут привлечь к ответственности за порчу денег, и передал монету Панкратову.

Все бросились рассматривать прожженную дырочку, я начал было сворачивать стенд, как кто-то взял меня за локоть. Это был Шеф. Я растерялся: видеть его доводилось разве что издали:

— Вы откуда к нам пришли, молодой человек? Ах, из Ленинграда! А где там кончали? У Царева, что вы говорите! И что ж, Царев уже на лазеры переключился?

— Нет, там я занимался лампами, лазерами начал только здесь.

Разумеется, я знал, что наш Шеф — академик и Нобелевский лауреат, до войны учился в Ленинградском университете, но о его знакомстве с Царевым мне было неизвестно.

— Что ж, мы здесь все начинающие. Теперь скажите, молодой человек, мощностъ вы получили приличную, но что дальше, как вам видится, где все это можно применить?

Тут я осмелел, дал себе волю и начал излагать Шефу идеи, которые Панкратов называл «фантастическими» и с ходу отвергал. Шеф не перебивал, слушал заинтересованно и лишь загибал пальцы: «Измерение расстояний — раз, передача информации — два, глазные операции — три...» В какой-то момент он взглянул на часы:

— К сожалению, я должен поспешить на совещание. Сделаем так. На следующей неделе зайдите к моей секретарше, она посмотрит, когда у меня свободно, и мы продолжим этот разговор.

Высокая, немолодая уже дама взглянула на меня поверх очков:

— По личным вопросам товарищ директор принимает в последний четверг месяца. На март и апрель все занято, могу записать на май.

— Я не по личному вопросу, меня Шеф сам просил зайти.

— Сам просил? — секретарша покосилась на меня с недоверием. — Как фамилия? Я проверю, зайдите к вечеру.

Шеф удобно устроился в красивом кожаном кресле, листал газету и пил чай с печеньем. Увидев меня, он улыбнулся, отложил газету, жестом предложил сесть:

— Вам предстоит повторить демонстрацию в Комитете по науке. Дело серьезное. Там будут люди, от которых зависит буквально все.

— Может быть, лучше Панкратов, он все же завлаб...

— Кто это вас к субординации приучал? Не Царев же! Панкратов не подходит. В деле он — танк, но никогда не знаешь, что взбредет ему в голову. Вдруг начнет метать в кого-нибудь громы и молнии, а то и хлопнет дверью. Он, знаете ли, во время войны был контужен. К тому же там важно не монетку прожечь, это мелочи. Важно толковый

доклад сделать и ничего при этом не приукрасить. Там будут люди, которым нет нужды очки втирать. Между прочим, мне доложили, что вы американскую литературу регулярно читаете. Вот так и скажите: мы еще здесь стоим, а англосаксы ушли туда-то и туда-то. Кстати, где это вы английский изучили?

— Я до войны учился в гимназии в Вильнюсе. У нас английский преподавала одна старушка. Она всю жизнь прожила в Чикаго, с нами только по-английски говорила. Мы возмущались, жаловались на нее директору, а сейчас вспоминаю ее с благодарностью.

— Вот оно что, — Шеф посмотрел на меня многозначительно. — И меня, знаете ли, ребенком из-за бугра привезли. Нахлебался я за свое зарубежное происхождение... Слава Богу, времена изменились.

Шеф сделал паузу, глотнул чая:

— Теперь о другом. Вы, должно быть, знаете, что Нобелевский комитет разделил премию за лазер на двоих. Так вот и в Комитете по науке, и в Академии взяли моду все делить на двоих. Мне академика — ему академика, мне институт — ему институт. Только они там, в Желтой Пахре, газовыми лазерами занимаются. И хорошо бы занимались! Так нет, им все кажется, что нам больше денег и оборудования перепадает. Только и делают, что под нас копают. Поэтому я хочу, чтобы вы и по газовым лазерам литературу просмотрели, доклад их выслушали, а потом мне доложили, что там у них туфта, а что — дело. И еще: народ в Комитете соберется серьезный, ждите каверзных вопросов.

Серьезный народ оказался к тому же и недисциплинированным. Солидные мужчины, с большими животами и маленькими портфелями, входили в зал не спеша, подолгу здоровались и говорили друг с другом с таким азартом, словно только для того сюда и пришли.

Наконец на трибуне появился дородный брюнет с проседью и с легким грузинским акцентом произнес:

— Товарищи! Мы собрались сегодня, чтобы обсудить перспективы применения квантовых генераторов, которые наши и зарубежные авторитеты считают весьма значительными. Представители двести семнадцатого и шестисот первого институтов доложат о своих результатах. Пожалуйста, товарищ...

Ноги подкашивались, во рту пересохло, и хотя установку я знал как свои пять пальцев, мне все время казалось, что сейчас я что-то перепутаю. Но вот рубильник включен: удар, треск, монетка окуталась черным дымком. Я вынул ее пинцетом, обмакнул в холодную воду и передал человеку, сидящему в первом ряду. Тот снял очки, внимательно рассмотрел отверстие и передал монетку дальше. Когда возбуждение по поводу прожженной дырочки улеглось, я чуть успокоился, доклад прочел четко, на вопросы отвечал кратко и ясно.

После меня доклад держал конкурент из Желтой Пахры. Он тоже продемонстрировал — не так эффектно, как я, — свой лазер, потом все поднялись, принялись рассматривать наши установки, рассуждать о том о сем. Я решил, что миссия моя окончена, но тут ко мне подошел высокий яйцеголовый мужчина средних лет:

— Извините, молодой человек, не расслышал ваше имя-отчество. Скажите, вы не пробовали мерить давление, которое создает пучок на единицу площади?

Я понял так, что яйцеголовый клонит к лазерной пушке:

— Нет, таких измерений мы не проводили. Я занимаюсь передачей информации по лазерному лучу. Меня интересует его расходимость и способы модуляции.

— Понятно, понятно. А как вы думаете, что случится, если два лазерных пучка направить навстречу друг другу?

Я опешил, понял, что речь вовсе не о лазерной пушке. Конечно, можно было отделаться ничего не значащими словами, но что-то в облике этого человека было такое, что не позволяло валять с ним дурака. Во-первых, он совсем не походил на вельможу, а его интонация — интел-

лигентная, вдумчивая — предполагала не рапорт младшего старшему, а обмен мнениями между коллегами.

— Я не знаю ответа на этот вопрос. Здесь надо копать теорию, но готового ответа, уверен, нет даже у корифеев.

Яйцеголовый вежливо поблагодарил.

Подошел Шеф:

— Что он спрашивал? Заинтересовался нашей работой?

— Скорее нет. Его интересуют встречные пучки. Это задача для теоретиков, я ничего не мог ему сказать.

— А вы хоть знаете, с кем говорили?

— Нет, не знаю, но думаю, что это очень хороший физик.

— Хороший! Не то слово! Он, он... такими делами занимается, что страшно сказать. Если он нами заинтересуется, тогда пусть в Желтой Пахре хоть на голову встанут, мы свое получим.

Повторяя, словно заклинание: «встречные пучки, встречные пучки», — Шеф удалился.

Выступление в Комитете по науке последствий не имело: меня больше никуда не приглашали, удалось или не удалось нам одолеть конкурентов, не сообщали. Разве что Шеф в порядке исключения распорядился приглашать меня на Ученый совет, дверь которого была открыта не ниже, чем для старших научных сотрудников. Да и при случайных встречах он приветливо со мной здоровался, всякий раз спрашивал:

— Как продвигается докторская?

Докторская продвигалась медленно.

Телефоны в научном оазисе под названием «Красноголовка» начисто отсутствовали. В институте же они висели на каждом этаже, однако исправными бывали редко и всегда только по очереди. Так что жаждущие позвонить метались с этажа на этаж в поисках того аппарата, который в данный момент был исправен. И уж вокруг него-то всегда роилась толпа. Меня эта проблема волновала мень-

ше других: звонить было некому, ждать звонка не от кого. Когда я приезжал в Москву, то первым делом отправлялся на Центральный телеграф, звонил Царевым, а потом пытался дозвониться Лазику. Попытки мои оканчивались ничем — застать Лазика было невозможно.

Сию однажды за рабочим столом, а тут врывается запыхавшаяся девица: «Беги скорее к телефону, у тебя кто-то умер». Что за чертовщина, кто у меня может умереть? Вскочил, побежал.

— Испугался? Да никто у тебя не умер, это я для того брякнул, чтобы тебя позвали. А то ведь, сколько ни проси, не зовут, мерзавцы.

— Ну и шутки у тебя, Лазик! Между прочим, я тебе всегда звоню, когда бываю в Москве, но ведь тебя никогда нет дома.

— Сейчас это уже не важно. А важно, что Мери тебя хочет. В субботу, в одиннадцать, чтоб был у меня.

— Не знаю, как получится, работы очень много.

— Ты что, не расслышал? Повторяю. Мери тебя хочет! Понял?

Лазик был точен. Не успел я открыть двери парадного подъезда на Большой Грузинской, как он, нагруженный множеством сумок и пакетов, выскочил из лифта.

— Подниматься не будем. Сейчас Мери спустится, и мы едем.

— Куда?

— Скоро узнаешь.

Такси остановилось у неприметного дома на Крестьянской заставе. Мы вышли, выгрузили багаж и поднялись на пятый этаж. Двери открыла миловидная дама средних лет. Она готовилась уйти, но на минуту задержалась:

— Проходите, мои милые, проходите и раздевайтесь. Мне сейчас нужно бежать, а вы мою-то расшевелите, хватит ей валяться.

В гостиной на узкой, длинной кушетке неподвижно лежало существо в красных брюках и белой блузке. Волосы у него были распущены, лоб перевязан белой лентой.

— Привет, ребята, — произнесло существо тоном, предполагающим в ответ сочувствие и сострадание.

Марьяна сочувствия не высказала:

— Вставай, корова, ставь чай. Мы ей мужика привели, а она себе придуривается!

— Так я и знала. Пришли больную проведать, и сразу чай им ставь, потом дай пожрать, потом чего еще.

— Насчет «чего еще» будешь с мужиком договариваться, а пока скажи, где у тебя глубокие миски?

Марьяна принялась извлекать из сумок пакеты с едой, Лазик достал бутылку болгарского вина и отправился на кухню ее открывать.

Существо в красных брюках приняло сидячее положение и протянуло мне руку.

— Вот видите, как друзья со мной обращаются, — никакого сочувствия! Между прочим, меня зовут Алла, а вас?.. Ой, как сложно! Давайте придумаем вам что-нибудь покрасивее. Мери, у тебя есть идеи?

— Зови его Нудя. Он такая же зануда, как ты, только с кандидатской. И не вздумай расспрашивать его о работе, он нас достанет.

Жгучая брюнетка с белой мраморной кожей, пухлыми щечками и карими глазками, Алла на первый взгляд, казалась девушкой томной, изнеженной, и только огоньки в глазах выдавали в ней натуру живую и темпераментную. Выглядела она лет на двадцать пять, но в действительности давно окончила мединститут, работала участковым врачом и в качестве такового свела знакомство с Марьяной. Перед подругой из министерского дома Алла не заискивала, но не без удовольствия играла роль пай-девочки при многоопытной даме.

Меж тем, больная поднялась, открыла новомодный буфет, до отказа набитый разнообразной посудой, и принялась доставать тарелочки, блюдца, вилочки и ложечки. Мне же было разъяснено, как все это расставлять на столе. Разъяснений я не понял, порядок тут же нарушил.

— Ох, уж эти мужчины! Ну, ничего не умеют. Неужели не понятно, что эта тарелочка для салата, эта — для селедки, эта...

— Что ты от него хочешь, много они там, в своей литовской дыре видели!

Наконец ложечки и вилочки устроились на своих местах, мисочки наполнились заливной рыбой, копченым мясом и другими деликатесами, прибывшими, между прочим, из этой самой литовской дыры. Лазик разлил вино, Марьяна подняла бокал: «Гуляем, ребята!»

Гуляли мы долго и весело. Шутили, смеялись, рассказывали анекдоты и разные смешные истории. Причем каждый, не сговариваясь, играл свою роль. Лазик — обжоры и увальня.

— Вы думаете, люди, почему он в меня вцепился? — Марьяна покраснела от вина. — Влюбился в длинноногую блондинку? Ни фиги! Просто я борщи классно готовлю. А он за тарелку борща даже на Бабе Яге женится. Женишься, Лаз?

Мне выпала роль технаря, который в своем деле понимает, но во всем остальном — полный профан. При этом Марьяна на меня нападала, а Алла вставала на мою защиту:

— Ну что ты к человеку привязалась? Может, от него больше толка, чем от твоего гуманитария. Скажите, вы лампочку в ванной поменять можете? Она там застряла, и мы с мамой целую неделю без света.

Я кивнул, все разом поднялись, отправились в ванную. Там я взобрался на Лазика, вывинтил старую лампочку, ввинтил новую. Свет брызнул, раздалось недружное «ура!»

Гуляние продолжилось, все уже было выпито и съедено, и тут вернулась хозяйка. Поохав и похав от восторга насчет лампочки в ванной, она освободила нас от мытья посуды, подала чаю.

Первой поднялась Марьяна:

— Сваливаем, ребята, мужик на электричку опоздает.

В коридоре Алла принялась тормошить меня за рукав:

— Дайте честное слово при всем народе, что позвоните мне завтра, сообщите, как добрались. А в следующую субботу я вас жду. У меня шнур утюга ободрался, гладить страшно.

Слово я дал, приехал в следующую субботу, и еще через одну, и снова приехал. Приезжая, являлся не с пустыми руками, а с билетами то в кино, то в театр. Алла ходить со мной не отказывалась, но скоро я понял, что ей куда приятнее проводить вечера дома, приготовить что-то вкусненькое, красиво это вкусненькое подать, а потом устроиться на кушетке, поставить возле себя чашку чая, блюдце с вареньем...

При всем том завзятой домоседкой Алла не была. Посещала выставки бородатых художников, водила знакомства с непризнанными поэтами, обожала песни Окуджавы, держала дома перепечатанный на машинке «Один день Ивана Денисовича». Ну, а если речь заходила о том, что какая-то модная певица бросила мужа или сделала аборт от любовника, Алла переживала это событие так искренне, словно произошло оно с кем-то из ее близких. И все же работа участкового врача, когда в день приходилось принимать десятки больных, а потом высунув язык бегать по участку, отнимала у этого хрупкого создания все силы. Я ей очень сочувствовал...

Старухи, закутанные во все черное, негромко подвывали, утирали слезы и ждали, когда им выдадут свидетельства о смерти мужей-кормильцев. Новоиспеченные мамы успокаивали орущих младенцев и ждали, когда им выдадут свидетельства о рождении наследников, молодые пары: она в белом, он в черном — прогуливались взад и вперед, ожидая, когда их, наконец, объявят мужем и женой. Все вместе это называлось: Пролетарский ЗАГС города Москвы.

Коренастая дама простецкого вида стрельнула в нас опытным глазом, мгновенно сообразила, что мы не та публика, перед которой нужно долго разглагольствовать о советской образцовой семье, произнесла самое необходимое, показала, где нужно расписаться нам с Аллой, а где нашим свидетелям — Марьяне и Лазику, и отпустила во свояси. В коридор мы вышли семейной парой.

На другой день мы летели на Кавказ, в Пицунду. Алла была недовольна и отъезду противилась: через неделю предстояло бракосочетание Лазика и Марьяны, и она рассчитывала погулять — коли не удалось на своей, хотя бы на свадьбе близкой подруги. Я же настоял на скорейшем отъезде — позже, дескать, у меня не будет времени. В действительности я хотел избежать встречи с Секретарем, Министром, Членом ЦК...

Морская поземка, насыщенная ароматами реликтовой сосны, выветрила предвкушаемые запахи свадебного застолья, необозримые небесные просторы растворили в себе московские заботы, накатывающиеся друг на друга волны наперебой шептали о вечном, заставляя забыть о земных заботах. Алла успокоилась, мраморная кожа на ее пухлых щечках порозовела, губки все чаще растягивались в улыбке. Она даже позволяла себе на виду у всех обнять меня за талию, когда мы, вдоволь накупавшись, возвращались с пляжа. Пройдя по небольшому отрезку реликтовой роши, который еще не был охвачен забором правительственной дачи, мы отправлялись на ближайший рынок, покупали фрукты, овощи, козий сыр и сладости. Готовить Алла предпочитала в маленькой комнатушке, которую мы снимали у местного жителя, состоящего в обслуге той самой дачи, бетонный забор которой протянулся на многие километры. У Аллы и здесь все получалось вкусно, красиво и аккуратно. Отобедав, мы ложились спать, а вечером отправлялись в концерт.

Необычайное сооружение из красного, потемневшего от времени кирпича венчал огромный купол, которому

явно не доставало креста. Оно и понятно, это сооружение когда-то было храмом. Каким чудом оно уцелело, никто не знал, зато все знали, что долгие годы храм стоял полуразрушенным. Стоял, пока не нашлись энтузиасты, которые его привели в порядок, устроили внутри сцену для артистов и скамейки для зрителей. Короче, превратили старинный храм в концертный зал. Выступали в нем безвестные пианисты, гитаристы, саксофонисты и наскоро сколоченные театральные труппы. А оттого концерты проходили в атмосфере дружеской, почти семейной. А еще привлекало сюда отдыхающих заведение под названием «Кофейня». Устроенное на скорую руку в виде легкого навеса и грубо сколоченных скамеек, оно, по всей видимости, официального статуса не имело. Однако жареные куропатки, подстреленные тут же, на кукурузном поле, а также душистый кофе, который готовил колоритный армянин по имени Костя, буквально приводили нас в состояние блаженства.

Всякому блаженству приходит конец: мы и не заметили, как вновь оказались в Москве. Встал вопрос: где нам жить? Тесниться в малюсенькой квартирке вместе с тещей было совершенно невозможно, перебраться в Красногоровку Алла категорически отказалась:

— Ты будешь целыми днями торчать в институте, а что буду делать я? Даже если тебе дадут отдельную квартиру, а мне — место в поликлинике, я не хочу хоронить себя в этой дыре.

Кончилось тем, что Алла сняла комнату в густонаселенной квартире там же, у Крестьянской заставы. Ночевали мы в ней раз пять, но шум, вонь и постоянные вторжения подвыпившей хозяйки заставили нас бежать оттуда, забыв о месячном авансе. Все вернулось на круги своя: всю неделю я проводил в Красногоровке, на выходные приезжал в Москву, вынуждая тещу искать пристанища то у одной подруги, то у другой.

Приезды мои омрачались не только самовыселением тещи, но и тягостными разговорами о том, что дальше так жить нельзя, что я должен искать работу в Москве, что все люди как люди, и только я один ни о чем не думаю, кроме своих лазеров. Я что-то лепетал в ответ, Алла принималась плакать и закрывалась от меня на кухне.

Между прочим, упрекая меня в нежелании ударить палец о палец ради семьи, Алла приводила в пример Лазика:

— Получил же Лазик место в Москве! Ну побегал, ну понервничал, но добился же своего.

Места в Москве Лазик не получил. Защита у него прошла блестяще, на кафедре им были довольны и дали направление на работу в Институт США и Канады. Все шло как по маслу, но вдруг какая-то инстанция Лазика затормозила. Причем инстанция это была такая, что даже его научный руководитель — он же кандидат в члены ЦК! — только развел руками. Лазик было скис, но тут вмешался Секретарь. Он определил приемного сына в какое-то учреждение в Литве, а уж оттуда его командировали в Институт США и Канады в качестве «представителя союзной республики».

— Поверь, старик, — уверял меня Лазик, — все это не имеет значения. Отношения с шефом у меня отличные, видимся каждую неделю то на его даче, то на нашей. Он мне уже сказал: отработаешь два года, поедешь в Штаты. Чуешь, Мери уже спит и видит себя в Нью-Йорке.

Панкратов сказал: «Полученные нами результаты позволяют произвести революцию в метрологии, геодезии и везде, где требуются сверхточные измерения расстояний».

Шеф сказал: «А на танк или самолет вы свой лазер установить не хотите? С какой точностью обещаете измерить расстояние километра в два?»

Панкратов сказал: «Установить можем и измерить можем. Только, когда на земле поднимется пыль или наплы-

вут облака и пойдет дождь, лазер двух километров не пробыет. Разве что в космосе...»

Шеф сказал: «Вот именно, в космосе! На черта нам геодезия и метрология! Денег там нет, закажут сотню другую приборов, выйдет одна морока. Будем пробиваться в космос!»

Полученным результатам я вначале не поверил. Проверял и снова проверял, пока не убедился — придумка удалась! Смущаясь, доложил Панкратову. Тот побледнел, покраснел, почесал в затылке и принял решение провести контрольные испытания на «нейтральной территории», в Институте метрологии.

Метрологи всяких изобретателей повидали немало, слов о революционных открытиях наслышались предостаточно, встретили нас скептическими улыбками. Эталоны все же предоставили, хотя параметров их предусмотрительно не сообщили. Каково же было удивление этих скептиков, когда наши результаты в точности, до последнего знака, совпали с эталонными!

Панкратов поднял трубку, набрал номер Шефа.

Меня назначили руководителем группы под названием «Космос». И даже зарплату прибавили. Но что такое космос? Этим делом у нас в стране занимались небожители. Узнавали мы об их существовании разве что из газет после запуска очередного спутника. Как до них дотянуться, я и понятия не имел. Панкратов меня успокоил:

— Вот увидите, скоро Шеф найдет ходы к космоделам. А пока что сходите в Первый отдел, вам нужно заполнить кое-какие бумаги.

Отправляясь в Первый отдел, я и понятия не имел, о чем идет речь. Не о новом ли назначении?

— При чем здесь это? — коренастая женщина лет пятидесяти сделала удивленные глаза и протянула мне пачку анкет:

— Заполняйте!

Заполнить анкеты оказалось делом непростым. «Имя, имя отца, имя матери... Где родились, чем занимались... Состояли — не состояли, меняли — не меняли... Были в плену, под судом, в окружении, в оккупации... Родственники за границей. Кто, где, когда...»

Добрый час я пыхтел над этими анкетами, но в конце концов все получилось пристойно. В плену и на оккупированных территориях я не был, под судом не состоял, близких родственников за границей не имел, а дальних не знал вовсе. Короче, заполнил я анкеты, протянул их начальнице. Та внимательно все просмотрела, велела что-то добавить, где-то расписаться, в заключение же сказала:

— Быстро не будет, раньше чем через шесть месяцев не ждите.

Чего раньше не будет, чего именно мне предстоит ждать через шесть месяцев?

Позвонили от Шефа:

— Завтра товарищ директор едет в Москву на совещание. Он хочет, чтобы вы его сопровождали.

— К космоделам путь держим? — спросил я вкрадчиво, когда директорская «Волга» отчалила от подъезда института.

— Нет, нет. Туда я вас взять не могу, вам еще допуск не оформили. Сейчас едем в Курчатовский институт. Там будет доклад о термояде. Они что-то хотят делать с лазером. Посмотрим, может, и нам перепадет кусок работы. Во всяком случае, люди там дельные, а главное — бюджет у них открытый.

Что такое «открытый бюджет» я не знал, а вот о термояде представление имел. И не только из газет, которые взалхлеб писали об установке «Токомак», не забывая добавить, что это наши, советские, ученые вот-вот осчастливят мир неиссякаемым источником энергии, основанном на термоядерном синтезе. И все же я был разочарован: ждал встречи с космоделами, а тут — доклад по термояду!

Разочарование мое тут же улетучилось, как только появился докладчик. Это был тот самый яйцеголовый Академик, который когда-то задал мне непростой вопрос в Комитете по науке!

Голосом Академик говорил тихим, тоном — бесстрастным, но время от времени манере своей изменял, и тогда наружу прорывался темперамент изобретателя, по-детски увлеченного своим открытием. Удивляла и совсем не казенная озабоченность ученого мировыми проблемами, и его слова об ответственности ученых перед обществом, «которому мы обязаны дать дешевую энергию в неограниченном количестве».

Предложение Академика выглядело новаторским и состояло в том, что вместо магнитной ловушки для плазмы он предлагал создать лазерную. Проще говоря, Академик хотел удержать плазму — этот самый источник неисчерпаемой энергии — с помощью встречных пучков лазера.

Академик меня узнал. Когда мы, участники семинара, отправились обедать, он подошел, протянул руку:

— Ну-с, удалось вам получить точности, на которые вы рассчитывали?

— Удалось. Даже те, на которые не рассчитывал.

— Каким же образом?

Стараясь быть кратким, я рассказал о своем изобретении. Академик заинтересовался, начал задавать вопросы, причем совсем не теоретического свойства: «Как впаяли электрод? Как юстировали? Как получили нужный вакуум?»

Когда обед закончился и официантки принялись убирать посуду, Академик снова подошел ко мне:

— Я решил организовать семинар по термояду. Мы будем собираться раз в месяц здесь, в Курчатовке. Не хотите принять участие?

— Я не специалист... в Красногоровке я занимаюсь совсем другими проблемами.

— А специалистов в этом деле не существует. Меня интересуют люди, умеющие думать и решать задачи.

Я обещал дать ответ, а пока что отправился на поиски телефона.

Алла звонку моему обрадовалась и тут же потребовала, чтоб я немедленно ехал к ней в поликлинику. Оказалось, в театре на Таганке дают спектакль с Высоцким. Билетов у нас не было, но мы все же решили попытаться счастья.

Билеты на Таганку спрашивали сразу по выходе из метро, шансы у нас были нулевые, но через полчаса беспешной толкотни ко мне подошел разбитной малый. Нагло осмотрев меня с ног до головы, процедил сквозь зубы:

— Приезжий, что ли?

Получив утвердительный ответ, снова процедил:

— Сколько тебе? Два? Цену знаешь?

Спектакль был шумный, сумбурный, актеры неистовствовали на сцене, зрители — в зале. Я пытался сосредоточиться, решить, нужно ли мне да и удастся ли посещать семинары по термояду. Сосредоточиться не получалось. Я злился на шум и суету, на актеров и на зрителей, но больше всего на Аллу, которая притащила меня сюда вместо того, чтобы выслушать рассказ о семинаре, об Академике, о его предложении.

Домой мы возвращались пешком, благо, от Таганки до дома полчаса ходу. Алла была счастлива и всю дорогу не переставала восхищаться спектаклем, актерами и вообще — всем. Меня это окончательно вывело из себя.

— Спектакль — ерундовый, актеры — никакие. Бегают по сцене, словно сумасшедшие; выкрикивают политические лозунги и думают, будто они великие артисты. А Высоцкий? Хрипит, шипит, строит из себя уловника, а таланта — на грош! В общем, не искусство, а балаган.

— Ты, ты... Да как ты смеешь! — слезы душили Аллу. — Ты ведь ничего не понимаешь, ты как, как... иностранец.

Слово «иностранец» меня искренне удивило. Я ожидал «деревенщину», «технаря», но — иностранец? Сначала мне сделалось смешно, потом — совестно. Я решил было успокоить Аллу, даже попросить у нее прощения, но

она замахала руками и бросилась от меня чуть ли не бегом. Я обиделся, не стал ее догонять и отправился на вокзал. В ожидании поезда устроился на скамейке, открыл оставленную кем-то газету и узнал, что между Израилем и арабами началась война.

Война эта шла где-то очень далеко, длилась всего шесть дней и нас как будто бы не касалась. Однако ж вокруг почему-то поднялся невероятный шум. Малюсенькая страна, о которой еще вчера мало кто слышал, вдруг превратилась в огромное кроважидное чудовище, которое вторгалось в мирные арабские города; людей там убивало, а имущество грабило. И еще появилось слово «сионист». Этого-то слова уж точно никто раньше не слышал, что оно означает — не знал. Тем не менее всем оно приглянулось. «Мой-то, — жаловалась в электричке одна бабка другой, — намерен шубу мою спер, продал и пропил. Сионист проклятый!» — «Иди немедленно домой, — кричала мать непослушному сынишке, — не пойдешь? Ну и оставайся. Вот придут сионисты и заберут тебя, будешь знать!»

Меня слово сионист пугало. Но вовсе не тем, что означало злодея на все случаи жизни. Кто такие эти сионисты и откуда они взялись, в газетах не писали. Выходило, объявить сионистом можно было каждого. Во всяком случае каждый должен был доказать, что он — не сионист. Доказать это можно было, выступив на митинге или поставив подпись под коллективным письмом. То есть вместе с учеными, рабочими и колхозниками осудить никому ранее не ведомую тетку по имени Голда Меир. Мне выступить на митинге или поставить подпись под письмом никто не предлагал, но на всякий случай я решил, что если и предложат, никого осуждать не стану и оправдываться не буду.

Решить-то я решил...

Сижу за рабочим столом, о чем-то размышляю, как вдруг подходит верзила-парень, работавший у нас стеклодувом. Славен он был тем, что в любое время дня спиртным от него разило за версту. У меня дел с ним не было.

Так чего это он ко мне подошел, чего смотрит на меня в упор и ухмыляется?

— Вообще-то я вашу нацию не люблю, но за то, что надавали по шее черномазым, уважаю. Ей-богу, уважаю.

Стоит, перегаром на меня дышит, а я не знаю, что ответить.

На счастье или несчастье рядом оказался Панкратов. Он на этого типа взглянул да как рявкнет:

— У вас что, работы нет? Идите и работайте.

Вечером зазвал меня в кабинет. Захожу, а он сидит, как всегда в неприятных для себя ситуациях, бледнеет, краснеет, на стуле ерзает:

— Детали я обсуждать не берусь, но в общем и целом получается так, что война на Ближнем Востоке выгодна американскому империализму. Тут нужно из-за деревьев лес видеть. Так-то! А вам не советую ни в какие разговоры вступать. Вам же допуск оформляют, со дня на день должны в Первый отдел вызвать!

Ни со дня на день, ни через месяц, ни через год в Первый отдел меня не вызвали, допуска к секретной информации не дали.

Зато вызвали в суд. Алла явилась туда первой, выглядела похудевшей, осунувшейся, смотреть в мою сторону избегала. Стандартный аргумент «не сошлись характерами», отсутствие детей и взаимных претензий и, главное, тот факт, что мы никогда не жили под одной крышей, убедили судью, что перед ним не тот случай, когда следует отложить развод, попытаться спасти семью. И верно, спасти было нечего — свидетельство о расторжении брака не заставило себя ждать.

## *Глава шестая*

Шеф сказал: «Благодаря вашему изделию американцы нас побаиваются, на рожон не лезут. Но и на месте не сто-

ят, лучевое оружие появится у них совсем скоро. Так что и мы не имеем права отставать. Держимся-то на чем? На равенстве с капиталистами!»

Академик сказал: «Гонкой вооружений ничего добиться нельзя. Термоядерная бомба стерла грань между победой и поражением. Мы, конечно, можем уничтожить Америку, но и сами погибнем. Альтернатива же гибели человечества в сближении социалистической системы с капиталистической».

Шеф сказал: «Вы серьезно думаете, что капиталисты пойдут на сближение с нами? А Вьетнам, а Ближний Восток? Везде, где могут, они пытаются вставить нам палки в колеса».

Академик сказал: «Верно, верно. Но это означает одно: международная политика должна быть перестроена, переведена на научные рельсы и демократические основы. Ни мы, ни американцы не должны добиваться преимуществ. Экспорт революций и контрреволюций должен быть запрещен. А чтоб запрет этот соблюдался, необходима максимальная гласность, полная свобода информации».

Под космические исследования в институте создали специальный отдел. Доступа туда я не получил, чем там занимаются, не знал и, хотя все еще числился руководителем группы «Космос» в лаборатории Панкратова, никаких связей с космоделами не имел. Разве что встречал их на научных конференциях.

Вот и сейчас, в декабре 1969 года, «Красная стрела» несл меня в Ленинград, где должен был состояться симпозиум по мирному использованию космического пространства. Ехал я туда не один, желающих принять участие в международной тусовке набралось человек двадцать во главе с самим Шефом. Кто-то надеялся услышать новое слово в науке, кому-то льстила перспектива покрасоваться в обществе именитых и знаменитых, кто-то просто хотел устроить себе маленький отпуск. Я же решил воспользо-

ваться поездкой в Ленинград, чтобы проведать Царевых, встретить с ними Новый год, но главное — отвести душу, в которую после разрыва с Аллой вселилась тягостная пустота.

В двухместном, под старину, купе я оказался вместе с Панкратовым. Проводница принесла чаю. Панкратов достал домашний пирог, разрезал его на две части, одну протянул мне. Покончив с чаепитием, он снял ботинки, углубился в обширное кресло и принялся бубнить текст доклада, который ему предстояло прочесть по-английски. Смушать его я не стал, сказал, что хочу размяться, и вышел в коридор.

В коридоре было пусто. Коллеги укрылись в своих купе, предпочитая — в виду присутствия большого начальства — пить водку за закрытыми дверьми. Я устроился у окна в надежде различить что-нибудь в ночной мгле. Неожиданно за спиной открылось дверь: из соседнего купе вышел Шеф в роскошной бархатной куртке:

— А, это вы, молодой человек. Вы что, скушаете? Тогда вот что, сходите к проводникам, закажите нам еще чая, себе возьмите стакан и приходите к нам чаевничать. Мы тут болтаем о том о сем.

Я сходил к проводникам, заказал чай, вернулся, вошел в купе Шефа и с удивлением обнаружил, что делит он его с Академиком. Мы поздоровались как старые добрые знакомые, разговор «о том о сем» продолжился.

Академик сказал: «Договор о прекращении испытаний ядерного оружия — большое достижение. Судите сами: мы в прошлом году взорвали пятьдесят мегатонн, американцы в ответ — сто, мы — сто пятьдесят, и пошло, и поехало. А выкладки показывают: взрыв одной лишь трехмегатонной бомбы ведет к гибели миллиона человек!»

Шеф сказал: «А где гарантии, что капиталисты будут этот договор соблюдать?»

Академик сказал: «Гарантию даст свобода получения информации, свобода от давления авторитетов, массовых мифов и предрассудков. Конечно, сегодня в мире все еще господствуют угнетение, догматизм и демагогия. Чтобы освободиться от них, необходима свобода мысли, соблюдение всеми правительствами прав человека. Ох, как нам этих прав недостает!»

Шеф сказал: «Э, э! Не раскачивайте лодку, все потонем...»

Слегка похулить отечество и слегка же похвалить за границу давно стало признаком хорошего тона — без того не обходился ни один интеллигентный разговор. Если же кто-то разговоров таких избегал, о нем говорили: карьеру делает! Или — добивается заграничной командировки. Впрочем, подобных разговоров я тоже не любил. Но не потому, что мечтал о загранице, — поездка туда виделась мне чем-то вроде путешествия на Луну, — а потому, что рассуждения на эту тему представлялись мне переливанием из пустого в порожнее.

Беседа Шефа с Академиком на пустопорожнюю болтовню не походила. Ничего подобного я раньше не слышал, ни о чем таком не задумывался. Жизнь представлялась мне данностью, отпущенной свыше. Данность эта была сурова, несправедлива и всегда направлена против меня. Если мне что-то и удалось: выжить, например, или окончить институт, или стать кандидатом наук, то все это я считал чудом, свершившимся вопреки данности. Правда, в душе я надеялся, что мне еще раз удастся обмануть судьбу, защитить докторскую диссертацию и — это уже потолок! — стать завлабом, но мысль о том, что можно изменить саму данность, голову мою не посещала.

Логика Академика, его слова о праве букашки существовать самой по себе, существовать без оглядки на немумолимую данность, поразили меня до глубины души. Ведь букашкой-то я видел не только себя, но и всех вок-

руг. Конечно, кого-то данность гневом обошла, кого-то даже сделала своим баловнем, но в любой момент могла раздавить и того и другого. У Академика же получалось, что каждый имеет право существовать безо всякого на то соизволения! А еще меня поразило, что слышу я это от человека, не рядового или данностью обиженного, а выдающегося, всеми наградами награжденного и возглавляющего дело, столь значительное, что о нем предпочитали говорить шепотом.

Всю ночь я ворочался на верхней полке, но заснуть не получилось. Под утро Панкратов начал храпеть, я решил, что теперь уже и вовсе не засну, встал, натянул брюки и отправился в коридор.

У приоткрытого окна, задумчиво глядя вдаль, стоял Академик:

— И вам не спится? У меня, знаете ли, давнишняя беда — не могу спать в поездах.

Мы разговорились. Академик хотел знать, что представляет собой симпозиум, на который мы направляемся, кто в нем участвует, в чем суть моего доклада. Откровенно признался: своего доклада у меня нет, симпозиум кажется мне слишком представительным, чтобы быть научным, а интересуется он меня постольку, поскольку дает повод побывать в Ленинграде и провести здесь Новый год.

— Вы — ленинградец, у вас здесь родные?

От разговоров о собственной персоне я обычно уклонялся: отделялся шутками или переводил разговор на другую тему. Сейчас же это показалось мне неуместным. Рассказал все, как есть: родители погибли во время оккупации, войну пережил в Ленинграде, все блокадные годы работал на заводе, потом поступил в Политехнический институт. После смерти Сталина меня взял в аспирантуру профессор Царев, а уж по ее окончании оказался в Красногоровке.

Академик слушал заинтересованно, а я понимал так, что интерес его относится к Ленинградскому политехни-

ческому институту и к личности профессора Царева. Оказалось, что к Политеху Академик сантиментов не питал, с Царевым знаком не был. Интересовало его другое: «Почему не эвакуировали родителей? Какой паек выдавали подросткам во время блокады? Как мотивировали отказ в приеме в аспирантуру?»

Вопросов таких мне прежде не задавали, готовых ответов у меня не было. Я смутился, отвечал сбивчиво и очень опасался, что Академик сочтет, будто я что-то недоговариваю. По всей видимости, так и случилось — он вдруг замолчал. Молчал он долго, мне сделалось совсем уж неловко, я решил было вернуться в купе, но тут Академик снова заговорил:

— Вы знаете, молодой человек, я еду на процесс самолетчиков. Не слышали о нем? Так вот, группа молодых людей в Ленинграде пыталась угнать самолет в Израиль. Всех их арестовали, а теперь идет суд. Прокурор уже потребовал смертной казни. Это, конечно, безумие: оружия при них не было, да и арестовали-то их на земле, еще до того, как они вошли в самолет! Я попытаюсь попасть в зал суда. Надеюсь, мое присутствие поможет предотвратить самое худшее. Но тут важно и другое. О процессе должна узнать общественность, а для этого потребуется переправить в Москву подробный отчет. Второго января он будет готов. Проблема в том, что перевезти его должен человек, за которым не ходят «хвосты». Не согласитесь ли взять это на себя?

Мог ли я сказать «нет»?

Долговязый, слегка прихрамывающий парень долго водил меня по ленинградским переулкам, пока не завел в какую-то подворотню. Оглядевшись по сторонам, сунул конверт. Адрес записывать не разрешил, велел запомнить.

Запомнил я его с легкостью, дом в Сокольниках отыскал без труда, поднялся на третий этаж и, не успев отдышаться, позвонил. Смуглый, поджарый мужчина с тонки-

ми чертами лица и шевелюрой, сильно тронутой сединой, смотрел на меня спокойно, доброжелательно, жестом предложил войти. Я закрыл за собой дверь, достал конверт:

— Это тете Вере от племянника Саши.

Мужчина молча взял конверт и продолжал смотреть на меня в упор живыми умными глазами.

По-прежнему тяжело дыша, я попятился к двери.

— Болит?

— Что болит?

— Здесь болит? — указательный палец хозяина показывал на то место, где находится сердце.

Я кивнул; в этом месте уже несколько дней что-то давило и жгло.

— Снимите пальто и проходите.

Хозяин провел меня в гостиную, усадил на стул, велел снять пиджак и рубашку. Сам же достал из ящика стола фонендоскоп, принялся меня выслушивать, выстукивать, спрашивать:

— Ай, ай, ай! Рано вы что-то. Небось за здоровьем не следите, к врачам не ходите. Ясно, ясно. А ну, возьмите-ка эту таблетку под язык!

Хозяина звали Марк, он был кардиолог, работал в известной московской больнице. Не знаю почему, но с первой же встречи Марк проникся ко мне симпатией, относиться стал по-отечески, хотя старше был ненамного. Однако ж опытнее — значительно.

Родом хозяин квартиры в Сокольниках был из Винницы, войну провел в эвакуации, окончил там школу, а по возвращении домой поступил в мединститут. Вскоре его арестовали и отправили в лагерь на семь лет. «За что?» — спросил я для порядка, ничуть не сомневаясь, что доктор оказался жертвой все той же данности, которая проглатывает людей просто потому, что не может иначе. «За сионизм», — ответил Марк тоном, подразумевающим: было за что!

С того самого дня, когда в наших газетах появилось слово «сионизм», я был уверен, что попало оно туда случайно, по ошибке, ведь никаких сионистов в нашей стране не было и быть не могло! Кто-кто, а уж я-то знал, что сионистами называли себя люди, которые когда-то давным-давно, в начале века, уезжали в Палестину, чтобы построить там новый Иерусалим. И еще сионисты водились в довоенной Литве. Они, правда, никуда не уезжали, но по поводу и без повода били себя в грудь и с пеной у рта доказывали, что все евреи обязаны жить в Палестине, и только там. И еще они собирали деньги и по этому поводу бывали в нашем доме. Папа с ними отчаянно спорил, но деньги давал. Хорошо помню, как он после таких визитов нервничал: расхаживал из угла в угол, о чем-то сам с собой разговаривал, потом садился за стол, писал письмо Жаботинскому и не успокаивался до тех пор, пока не высказывал ему все, что думает по тому или иному поводу. А еще папа выписывал из Палестины книги и журналы и очень любил рассказывать разные курьезы, которые в них вычитывал. Когда же мы переехали в Вильнюс и мама хотела отдать меня в русскую гимназию имени Пушкина, папа настоял, чтобы я занимался в ивритской, имени Бялика.

Последнее обстоятельство привело Марка в восторг; он просто не мог поверить, что видит перед собой человека, который учился в ивритской гимназии! Сам он научился языку в лагере. Учителем его был какой-то заключенный — польский еврей. Человек, по всей видимости, малообразованный, он многому научить молодого зэка не мог, но и то, чему научил, дало Марку повод собирать единомышленников и восседать перед ними в качестве... учителя иврита.

Впрочем, иврит был не единственным предметом на домашних курсах, которые Марк называл на израильский манер — «ульпаном»: рассуждали там, спорили обо всем на свете. О Сталине и Гитлере, о Достоевском и Дунаевском, о коммунизме и капитализме, об экономике и науке.

Рассуждали, спорили, но в конце концов сходились на том, что все-то в нашей стране устроено из рук вон плохо: экономика отсталая, медицина никуда не годится, культуры — никакой. Министры — само собой — безмозглые, писатели — бездарные, журналисты — продажные. И все непременно антисемиты. За малым, разве что, исключением.

Зато об Израиле здесь говорили с придыханием. И цветущий сад в пустыне построили, и войну с арабами выиграли. И апельсины у них самые сладкие, и автоматы — самые лучшие. И Бен Гурион — великий государственный муж, и Голда Меир — что-то вроде родной матери. Откуда они все это знали? Где-то вычитали или от кого-то слышали? А может быть, просто придумали, потому что уж очень хотелось...

О чем здесь не спорили, так это об отъезде. Ехать надо! Это была та самая идея, которая сделала из них, людей рядовых, данностью запуганных, жизнью придавленных, заботами обремененных, отчаянных борцов, бросивших вызов этой самой всемогущей данности.

Все это стало мне понятно много позже, при первой же встрече Марк не только прослушал мое сердце, не только пожурѣл за халатное отношение к собственному здоровью, но настоятельно потребовал, чтобы я явился к нему в больницу. Там он обещал сделать мне полное обследование и дать какие-то чудодейственные таблетки.

Ходить по врачам, что по мукам. Хождений этих я всячески избегал, хотя и отдавал себе отчет, что рано или поздно встречи с эскулапом не избежать. А тут появилась возможность показаться хорошему кардиологу, да еще в обход обычной волоките!

Я позвонил.

Марк провозился со мной часа два. Кардиограмма показала что-то плохое, анализ крови — и того хуже. Марк сердился — так же нельзя! — в категорической форме запретил с утра до вечера глушить кофе, работать ночами, ве-

лел два раза в день гулять и дал еще массу невыполнимых советов. А уж таблеток насовал — целую кучу! Я принялся было благодарить, но Марк решительно меня прервал:

— Никаких благодарностей! Звоните и приходите в любое время. А если захотите, приезжайте ко мне домой в пятницу, часам к семи. Будет разный народ; мы немного занимаемся, немного говорим о том о сем, ну, и... чай с вареньем.

Явился я загодя, Марк меня прослушал, сказал: «Сегодня лучше» — и стал готовиться к приему гостей.

Вскоре раздался первый звонок, потом второй, потом третий. Посетители — люди как люди: усталые, озабоченные, ничем не отличимые от тех, коими полны улицы всех городов и коридоры всех учреждений. Но что удивительно, как только они переступали порог квартиры, спины их распрямлялись, лица — оживали, губы начинали улыбаться. Гости отпускали шутки — чаще всего в адрес вождей — и вообще вели себя совсем не так, как можно было предположить, глядя на них еще минуту назад.

Гости-ученики усаживались кто куда, открывали тетрадки, но начинали с обмена новостями. Новости же у них крутились вокруг одного: кто-то получил вызов из Израиля, кто-то умудрился подать документы на выезд, кого-то выгнали с работы, кто-то получил отказ.

Марк представил меня, бросив как бы между прочим: — Мой пациент, он нам не помешает.

Я и в самом деле не мешал: забился в угол, рта не открывал и все пытался понять, что же здесь происходит?

На первый взгляд, ничего особенного: частные курсы иностранного языка, где люди разучивают слова, пытаются одолеть их произношение, освоить написание, сложить из них предложения. Правда, язык это был не английский и не немецкий, а очень даже подозрительный, практически — запретный. Правда, учебники, которыми здесь пользовались, были зарубежного и что еще страшнее — самиздатовского происхождения. Правда, в атмос-

фере здесь было нечто вызывающее, запретное, опасное. Не давал покоя вопрос: почему эти люди не боятся? В поисках ответа я зачастил к Марку, перезнакомился с его учениками, стал включаться в общие разговоры и, наконец, начал понимать, что здесь происходит.

Да, эти люди открыто противопоставили себя данности, бросили ей, что называется, перчатку. Но не потому, что не знали страха. В глубине души они, конечно, боялись. Боялись, что останутся без работы. Боялись за детей и родителей. Боялись, что отправят их не на Ближний Восток, а на Дальний. Боялись, ибо никто из них, за исключением самого Марка, под следствием не бывал, лагерного барака не нюхал, как он все это выдержит, не знал. Разгадка состояла в другом. Квартира в Сокольниках представляла собой... территорию, свободную от данности. Здесь начинался иной мир, где по-другому жили, думали, говорили. Где даже любили, женились и разводились совсем иначе, чем там, «за порогом». И верно, здесь разводились не из-за пьянства, или измены, или квартирного вопроса, а из-за... нежелания одного из супругов ехать на историческую родину! При этом развестись с женой, не желающей уезжать, оставить детей или родителей не считалось грехом, скорее наоборот — проявлением идейной твердости. С другой стороны, завидным женихом или невестой здесь считали тех, у кого были родственники в Израиле и, следовательно, шанс получить разрешение на выезд. В главных же героях ходил тот, кто, пройдя все круги ада, умудрялся получить вызов из Израиля, подать документы на выезд, получить отказ, а вместе с ним и почетное звание «отказник»!

Все это было ново, необычно, все это волновало, интриговало, вновь и вновь тянуло в квартиру Марка. Правда, держался я там как сторонний наблюдатель, в споры не вступал, на вопрос о том, когда же, наконец, решусь на отъезд, отвечал уклончиво: представить себя в том далеком и жарком краю не мог при всем желании.

Академик сказал: «Будущее нашей страны на пути конвергенции социализма и капитализма. Мы должны объединить нравственную привлекательность идей социализма с принципами частной собственности, которые помогли странам Запада добиться высокого качества жизни для своих граждан».

Писатель сказал: «Подражательность Западу — не наш путь. Не конвергенции должны жаждать мы, не демократия на западный манер — цель наша. Веками матушка Русь привычно жила в авторитарных системах, и переход от одной к другой куда как для нее привычнее, естественнее, нежели к демократии. Если вожди наши откажутся от Самого Передового Учения, если заменят его исконною верою нашей, тогда и произойдет подлинное обновление России».

Академик сказал: «Сменой одной лишь идеологии ничего добиться нельзя. Для улучшения жизни наших людей стране нужно подключиться к общемировому прогрессу».

Писатель сказал: «Прогресс — бредовая мифология. Нашей стране он не только не нужен, но губителен. Не вширь, во внутрь должны мы развиваться. Не в Космосе предстоит жить народу нашему, а в Сибири да на Севере. Русский северо-восток — вот наша надежда и отстойник наш. Туда должны мы уйти».

В число «левых» пациентов Марка Академик попал после того, как открыто и гласно поделился своими мыслями о стране и мире и начал выступать в защиту отверженных и преследуемых. Разумеется, из секретного учреждения его тут же выставили, от всех привилегий, в том числе и от спецполиклиники, отлучили. Отлучение свое Академик воспринял спокойно, даже гордился: «Теперь я, как все!» Между тем больное сердце требовало врачебного присмотра, Академик попытался связаться с докторами, у которых лечился прежде, но «анкетные» врачи встреч с «отлученным» академиком избегали. Тут

кто-то и свел его с Марком, который слыл не только прекрасным специалистом, но и человеком, начальства не боявшимся.

В один из пятничных вечеров я, как всегда, явился в Сокольники, но нашел Марка не за общим столом, а в коридоре, одетого на выход.

— Позвонили от больного. Похоже, там серьезно. Еду к нему. Впрочем, вы ведь с ним знакомы, не хотите поехать со мной?

Академик жил в центре, в двухкомнатной, хотя и довольно просторной, квартире, дверь которой нам открыла маленькая старушка с удивительно большими глазами на худом, изборожденном глубокими морщинами лице и папирсой, которую она, похоже, никогда не вынимала изо рта. То была теща Академика. Она-то и приютила имениного зятя после того, как «отца» свержоружия выдворили из секретного учреждения и лишили служебной квартиры. Она же, в далеком прошлом старая большевичка, а после — политзаключенная с большим стажем, и просветила его, от реальной жизни оторванного, в том, что происходило в стране, когда он своими изобретениями пытался уберечь ее от новой войны.

Старушка приветливо с Марком поздоровалась, а мне кивнула, не спрашивая, кто я и зачем явился:

— Сам в спальне, народ на кухне.

Марк тут же исчез, мне было предложено пройти на кухню.

Людей там набилось много, все были взволнованы, курили, говорили о сердечных приступах, которые были у них, у их родных и знакомых. Я устроился у двери, ждал, когда выйдет Марк и все нам расскажет. Марк, между тем, не появлялся, разговоры на кухне перешли от сердечных приступов в сторону дел текущих, мне не знакомых. Я стоял, не знал, куда себя деть, но тут кто-то потянул меня за рукав. Я наклонился. Старушка с удивительно большими глазами обдала меня табачным дымом и тихо спросила:

— Вы по-английски говорите?

Я кивнул, она потащила меня в гостиную.

Супруга Академика, по лицу которой легко было прочесть, что пережила она в своей жизни немало, сердитым тоном говорила по телефону. Точнее, не говорила, а пыталась говорить, перемежая русские слова английскими и итальянскими. Поняв, что меня привели ей на помощь, протянула трубку:

— Скажи им: пока ничего не ясно. Как только будет диагноз, мы соберем пресс-конференцию. Пусть ждут и зря не беспокоятся.

Приятный баритон с неизменной британской интонацией настойчиво расспрашивал о состоянии Академика, о том, когда произошел приступ и нет ли в этом деле руки КГБ. Я, словно попугай, повторял одно и то же: «Пока не известно... соберем журналистов...» Баритон помолчал, потом неожиданно спросил: «С кем имею честь говорить?» Я опешил, но тут же сообразил назваться «коллегой» и быстренько положил трубку.

Супруга Академика посмотрела на меня с удивлением:

— Ты что, из Терфизики? Что-то я тебя раньше не видела.

— Нет, нет, не оттуда. Но я тоже физик, с Академиком встречался в Курчатовском институте и... в Ленинграде, на процессе самолетчиков.

— А! Да, да, он мне что-то рассказывал. Ты тот самый молодой человек из Литвы, который пережил блокаду в Ленинграде. Как же, помню, помню. Я и сама из Ленинграда. Ладно, иди пить чай, а я посмотрю, как он.

К счастью, тогдашний сердечный приступ оказался несерьезным, последствий для Академика не имел. Для Академика, но не для меня: в его двухкомнатную квартиру я зачастил, устраивался на кухне, слушал удивительные рассказы и жаркие споры ее завсегдатаев, поражался, как искренне переживают здесь все, что происходит в стране, как мучительно пытаются найти ответ на вечный вопрос: «Что делать?»

Лишь раз случилось мне быть свидетелем разговора в гостиной.

Академик сказал: «Мир, прогресс и права человека — цели неразрывно связанные. Нельзя достичь одной из них, пренебрегая другой. Я убежден, мир на земле невозможен без открытости, свободы информации, свободы убеждений и передвижений из страны в страну. Гражданские права к тому же являются основой технического прогресса и гарантией того, что прогресс этот будет использован не во вред людям, а послужит для повышения качества жизни. Вывод состоит в том, что соблюдение прав человека является определяющим в судьбах человечества».

Писатель сказал: «Не обнадёжен я размышлениями вашими. К чему приведут эти оголтелые права и свободы, о коих русским людям испокон века неведомо? К тому, что вновь окажется Русь наша в руках Гришки Распутина да Митьки Рубинштейна. Гришка ее наизнанку вывернет, во тьму кромешную опустит, на весь мир опозорит. Митька же оберет до нитки и, пока не вывезет в Лондон все золото, что земля русская хранит, не успокоится. А ведь тут другое: Китай. Ни много ни мало 900 тысяч топорищ того и ждѹт, чтоб обрушиться на спившуюся да разоренную Россию, отобрать у нее Сибирь, Север. И откуда тогда взять противосилу? Нет, не в правах человека вижу я выход, а в отказе от Самого Передового Учения, в отказе, который поможет нам отгородиться от полностью исчерпавшего себя Запада и одновременно войны с Китаем избежать».

Возвращаясь тем вечером в Красноголовку, я ни о чем другом, кроме разговора в гостиной, думать не мог. Не выходили из головы слова Писателя о том, что Академик, защищая то одного человечка, то другого, разменивается на мелочи, отвлекается от главного — размышлений о будущем страны. Тут же поймал себя на мысли, что более всего

впечатлили меня не слова Писателя, а он сам, его манера держаться, говорить. И верно, обликом своим напоминал Писатель патриарха, держался степенно, строго, даже — царственно, но совсем не так, как наши вожди-начальники, с их хамскими замашками, косноязычием и пустословием. Вместе с тем, явно не привычен был Писателю и тот откровенный, заинтересованный спор, что царил на кухне Академика; истину он знал в последней инстанции, себя, по всей видимости, считал ее глашатаем. Более же всего поражала его речь. Витиеватая, до предела закрученная, она тут же ставила собеседника в трудное положение, заставляя усомниться: а знаю ли я русский язык в той мере, чтобы возражать этому человеку, спорить с ним? Подумалось — вот он гигант, колосс, глыба! Да, да, скорее всего — глыба. Та самая, которой не обойдешь и с места не сдвинешь.

Между тем я все чаще появлялся на кухне Академика, пытаюсь в царящем здесь смешении всего и вся различать, кто есть кто и что есть что. Было это непросто, ибо роились там люди, самые разные, разговоры велись на темы, мыслимые и немыслимые, планы обсуждались и на следующий день, и на год, и на грядущее столетие вперед.

Художники, конечно же, неофициальные, непризнанные, рассказывали о подпольных выставках, жонглировали именами, мной не слыханными. Под стать художникам писатели, порой знаменитые, порой начинающие, но всегда опальные, непечатающиеся. И те и другие с презрением говорили о «генералах» от литературы, с восторгом — об авторах, чьи книги появляются в самиздате. Бывали на академической кухне ходоки из провинции, всем на свете обделенные, всего лишенные, измученные и запуганные. Те ни на кого руки поднимать не смели, жаловались разве на то, что, вот, сына единственного в армию забрали, мужа посадили, из квартиры выгнали. Частенько на кухне можно было встретить ученых со степенями и без оных, заглядывали туда люди пожилые, прошедшие

лагеря и тюрьмы, встречались ребята совсем молодые: отказники от службы в армии, поэты и музыканты, которых данность зачислила в тунеядцы и сама же их за это преследовала. Время от времени появлялись посланцы с Кавказа, Украины, из Крыма, из Литвы и Бог весть, откуда еще.

Понятно, каждый гость хотел говорить с самим Академиком, рассказать ему о беде, изложить историю, спросить совета. Академик слушал заинтересованно, верил на слово, чаще всего звал на совет того или иного гостя, а в особо серьезных случаях — жену. Супруга же его отличалась редким здравомыслием и исключительной прямоотой. Пустое от серьезного отличала с полуслова, а для тех, кого уличала в лукавстве, бранных слов не жалела. А еще не терпела она несправедливости. Если кавказцы или литовцы начинали разговор с того, что, мол, русские нас тираният и преследуют, она тут же рассказчика обрывала: «Не русские вас преследуют, а родная данность. Русских она тоже преследует».

Важным делом считалось на кухне написание писем. Правда, писать их или подписывать мне не предлагали, но переводить или редактировать просили часто. Письма же, что создавались на кухне, делились на «серьезные» и «несерьезные». «Серьезные» касались дел наиважнейших, обсуждались долго, сочинялись трудно, много раз переписывались. Подписывал их либо сам Академик, либо вместе с людьми именитыми, миру известными. «Несерьезные» — письма-требования — начинались со слов: «Требуем разрешить свидание с заключенным, требуем выдать выездную визу, прекратить, позволить, отменить...» Писались такие письма легко, по шаблону, а подписывали их все, кто в данный момент находился на кухне. Подписывали, в смысл не вникая, а то и вовсе в текст не заглядывая.

Однажды запустили по кругу письмо, которое все подписывали как «несерьезное». Протянули его мне: «Что скажешь?» Читаю, речь об отмене смертной казни. Что сказать? Признался, что никогда раньше об этом не ду-

мал, но правильно ли совсем отменять смертную казнь? Не уверен. Во-первых, преступления преступлениям — рознь. Во-вторых, и страна стране — рознь, и народы разные существуют, и ментальности у них разные, и традиции. Можно ли все и всех под одну гребенку...

Не успел я произнести эти слова, как на меня со всех сторон обрушились аргументы. Отбиваться не стал, подпись свою поставил. Но не потому, что меня переубедили: более всего боялся, как бы меня не приняли за человека, который языком болтает, а как до дела, тут же в кусты.

Первое письмо подписать, что девственности лишиться...

Зато в глазах Академика я перешел в разряд людей, которые приходят на его кухню не для того, чтобы просить о помощи, а для того, чтобы помощь эту оказывать. Таких Академик ценил особо, с ними создавал различные «комитеты» и «группы», с ними ходил на встречи с важными иностранцами — американскими сенаторами или британскими парламентариями. С ними же Академик обсуждал различные начинания, причем, по неписаному закону, каждый здесь брался за то дело, в котором больше других разумел.

Именитая адвокатесса, что в прошлом защищала диссидентов на громких процессах и была за то исключена из адвокатуры, занималась делами судебными: там-то и там-то человека арестовали, не предъявив ордера на арест, следствие вели с нарушениями, судили несправедно, приговор вынесли, не соответствующий статьям таким-то и таким-то. Религиозный философ, понятно, отовсюду изгнанный, занимался правами верующих. Всяких верующих. А вот долговременный еврейский отказник взял на себя право на эмиграцию. Опекал не только тех, кому отказывали в выезде в Израиль, но и немцев, и испанцев, и жен, разъединенных со своими заграничными мужьями. Был здесь и свой «пресс-атташе». Молодой, но совсем уже лысый паренек говорил на многих языках. На всех —

одинаково плохо, что, впрочем, его не смущало. Целыми днями он бегал по корреспондентам: письма ли им развозил, созывал ли их на встречи с диссидентами. И, хотя парень он был суетливый и не очень обязательный, на кухне к нему относились с уважением: человек делает работу камикадзе!

Вскоре и я приобрел «специализацию». Появилась она у меня неожиданно. Какой-то не в меру горячий грузинский патриот подложил бомбу в урну, что стояла у входа в здание республиканского Совета министров. Бомба взорвалась, погибла случайная прохожая. Инцидент был неприятный, мы ждали обвинения в терроризме, но грузинские правозащитники прислали письмо, в котором бомбиста нарекли «героем и борцом за независимость», а суд над ним — «еще одним примером подавления национальных прав Грузии». Прислали с тем, чтобы московские диссиденты его подписали и передали на Запад. На кухне возмутились: отказ от насильственных действий был непреложным правилом правозащитников! Связались с Тбилиси. Бесполезно, урезонить грузин не удавалось. Решили послать туда человека для серьезного разговора: необходимо было убедить упрямыцев в том, что поддержка террориста может стать поводом для разгрома всего правозащитного движения.

Решить-то решили, а ехать кому? Показывали пальцем то на того, то на другого: этот не мог, и тот не мог! Тут пальцы обратились в мою сторону. Я смутился — справлюсь ли? Смушение мое, однако, всерьез не приняли, тут же начали сбрасываться на билет. От денег я отказался — из всех присутствующих один только и получал зарплату. На следующий день оставил заявление на отпуск и отправился в аэропорт.

Человека, который встретил меня в тбилисском аэропорту, звали Мераб. Роста он был среднего, одет неприметно, но лицо его показалось мне необыкновенным. Римский профиль, суровый взгляд, свежий шрам через

всю щеку, густые усы — все дышало в нем мужеством и благородством. На средневекового рыцаря Мераб походил только внешне. В жизни он был человеком мирным, интеллигентным, служил учителем музыки, увлекался литературой, живописью, прекрасно играл на фортепьяно, но главным его «увлечением» была безграничная любовь к родному городу. Говорить о Тбилиси он мог часами, знал здесь каждую улицу и каждый переулок вместе с его обитателями и их историями.

Прежде всего Мераб отвез меня в свою большую и ни на что не похожую квартиру, в которой жил вдвоем с матерью: первый закон грузинского гостеприимства гласил — гостя накорми!

Седая, излучающая патриархальное благородство женщина подавала одно блюдо за другим, но имени моего запомнить не могла, называла «наш заграничный гость». Своим сыном-диссидентом она восхищалась, подвигами его гордилась, но и сильно за него переживала. Как только Мераб отлучался от стола, она тут же шептала мне на ухо.

— Уж поддержите вы там, за границей, моего Мераба. Его обвиняют в клевете и пропаганде, но, поверьте, мой сын — благородный человек, настоящий патриот и ничего, кроме независимости для нашей Грузии, он не добивается.

Второй закон гостеприимства — покажи гостю родной город.

Тбилиси меня удивил, восхитил, покориł. Ничего, похожего на Вильнюс и Каунас, здесь не было. Еще меньше походила столица Грузии на Москву или Ленинград. Холмистый пейзаж, обилие зелени, удивительная голубизна неба. Но главное — улочки, дома и дворы, с их обитателями, с их звуками и запахами. Все они были нестандартными, ни на что, в том числе друг на друга, не похожими. Все излучали гармонию, покой и доброту: все жили в мире с самими собой и со всем, что их окружало.

Мераба на этих улочках знали, и все ему — отверженному диссиденту! — улыбались, кивали, говорили какие-то слова. Да и на меня все смотрели дружески: заходи, мол, гость дорогой, расскажешь, откуда ты, как себя чувствуешь....

Третий закон грузинского гостеприимства — устрой в честь гостя застолье.

Застолье готовилось загодя, готовилось в квартире — столь же большой и просторной — другого грузинского диссидента, по имени Виктор. Крупный солидный мужчина, Виктор служил в министерстве культуры. В диссидентство он обратился по той причине, что лучше других знал, как власти относятся к памятникам национальной культуры да и к самой этой культуре. Поразительно, но, понизив Виктора в должности, с работы его не уволили, детей-студентов из университета не исключили.

Прием, устроенный в мою честь, превзошел все ожидания. Закуски — исключительно грузинские — стояли на столе в немыслимом количестве, бутылок вина было не счесть, а хозяйка и жены других диссидентов постоянно вносили все новые и новые блюда. Кроме изобилия и пышности, немало удивлен был я и тем, что женщины за столом отсутствовали; устроившись на кухне, они угощались отдельно от мужчин. Странно, вполне современные дамы, хорошо одетые, милые и обходительные, и вдруг — на кухне! Это всегда у них так или мне демонстрируют национальное своеобразие?

Хотя застолье проходило в квартире Виктора, вел его другой человек — «главный» диссидент Грузии. Худощавый, чуть выше среднего роста, с тщательно ухоженными свисающими усами, он долго не мог сообразить, кто я такой и почему именно меня Академик выбрал в качестве посланца в Грузию. В конце концов статус «иностранный дипломат» он за мной признал, тосты произносил высококоречивые: «За Грузию и за Россию!», «За Академика!» и «За нашего дорогого гостя!» Всякий тост сопровождался

поднятием бокала с рубинового цвета вином. И хотя осушать бокал до дна не требовалось, сколько их было, этих бокалов, сосчитать не мог никто.

Честь произнести ответный тост была предоставлена гостю, затем речи стали произносить другие участники застолья, в какой-то момент поднимали уже по два бокала, но тут случилась... тревога. Ошалелый от выпитого вина, я не сразу понял, что произошло. Оказалось, в разгар диссидентского застолья гэбисты угнали машину «главного». Заслышав об этом, мои хозяева побросали ножи и вилки и пустились догонять угонщиков. Машину «главного» они нашли брошенной тут же за углом, домой вернулись с видом победителей. Пир продолжился.

Не помню, как я в тот вечер устоял на ногах, но что рассказам об угоне машины гэбистами не поверил, помню точно. Мераб меня переубедил: оказалось, что им, диссидентам, время от времени звонят из КГБ и вызывают на кулачный бой. Шрам на его лице был тому свидетельством.

Более всего, однако, занимала меня личность «главного». Сын известного грузинского писателя, одно имя которого завораживало воображение, он был человеком образованным и очень состоятельным. Несмотря на открытую конфронтацию с данностью, работы в местной Академии наук его не лишили, дом и дачу у моря не отобрали, военный ГАЗик, который был у него в частном пользовании, не отняли, но время от времени «угоняли», напоминая, по всей видимости, «кто в доме хозяин». Со мной «главный» старался держаться как вождь грузинского народа, но это у него не всегда получалось. Иногда он переходил на интеллигентный тон, говорил об американской литературе, в изучении которой специализировался. Случалось, что он вдруг переходил на шепот, переставал смотреть на собеседника, устремлял взгляд куда-то вдаль. На эти мелочи я внимания не обращал, а вот его замечания о местных греках, «которых мы сразу же отправим в

Грецию, как только придем к власти», и о месхах, которых он называл «проклятыми турками», меня поразили. Слышать такое из уст диссидента!?

Между тем «главный» меня без устали развлекал: показывал древние монастыри, возил в горы, водил в абхазский ресторан пацху — шатер на воздухе, где подавали копченое на костре мясо с мамалыгой и сухим грузинским вином. Уловка его — замотать меня поездками и показами, чтобы уйти от разговора о главном, — не удалась. Я хорошо помнил, зачем приехал в Грузию, и вынудил грузинских коллег собраться и обсудить историю с бомбистом. После четырех часов горячих споров, с патетикой и заламыванием рук, мы пришли к компромиссу: грузины будут по-прежнему считать бомбиста национальным героем и «после прихода к власти поставят ему памятник», но письмо в его защиту отменяется.

В приподнятом настроении возвращался я в Москву. Настроение это испортилось сразу после приземления в столичном аэропорту.

Еще в самолете бросились мне в глаза два господина в одинаковых черных костюмах с одинаковыми черными галстуками, которые слишком уж часто сновали в проходе и с неподдельным любопытством на меня поглядывали. Те же два человека оказались рядом со мной в очереди на получение багажа, они же сели со мной в электричку, они же вышли на станции «Красноголовка».

В лаборатории недоумевали: это я-то, человек, который приходил на работу раньше всех, а уходил последним, я, который проводил здесь все праздники и выходные, вдруг начал утрами опаздывать, к концу рабочего дня то и дело поглядывать на часы, а потом сломя голову мчаться на электричку! Что с тобой случилось? Этот вопрос читал я в глазах всех сотрудников. Кое-кто даже пытался найти на него ответ. Однажды, когда я, зевая, появился в лаборатории, одна из девиц с насмешкой бросила:

— Ну что, опять приехал последней электричкой? Так тебе и надо, заводить подружек нужно по месту жительства, а не гоняться за столичными принцессами!

Панкратов настроен был отнюдь не так благодушно. Однажды подошел к моему столу, с раздражением бросил пакет:

— Это отзыв на вашу диссертацию. Уже неделю валяется в секретариате. Кто же, черт возьми, должен заботиться о вашей защите — я или вы?

После моего возвращения из Тбилиси он и вовсе ходил мрачнее тучи. Ни на кого не смотрел, ни с кем не здоровался, закрывался в своем кабинете и вызывал туда сотрудников поодиночке. Меня словно не замечал. Наконец позвонил: «Зайдите после пяти».

Как всегда в неприятные для себя минуты, Панкратов был напряжен, краснел, бледнел, постукивал по столу карандашом. Наконец взял себя в руки:

— Во-первых, обязан сделать вам выговор по части трудовой дисциплины. Вы без разрешения отсутствовали на работе целую неделю.

— Как без разрешения? Я же написал заявление!

— Вот именно, написал, бросил на стол и был таков. Так не делается.

— Хорошо, но ведь я за все время только один раз и был в отпуске, у меня полно свободных дней.

— Это не имеет значения. Впредь вы обязаны являться на работу в девять, уходить — в пять. Если хотите отлучиться, должны написать заявление, указать причину, завизировать у меня, отдать в отдел кадров и дожидаться ответа. Только так! Мы не частная лавочка, а государственное учреждение...

Панкратов тяжело выдохнул, опустил голову, начал «от себя»:

— Не знаю, чем вы там занимаетесь и не мое дело учить вас — вы не маленький мальчик. Об одном прошу: не подводите коллектив. У нас двадцать шесть человек и еще ас-

пиранты, и докторанты. Мы ведем девять направлений, четыре — закрытых. Я не хочу, чтобы лабораторию прикрыли, людей разогнали. Если уж поступать по-порядочному, то вам лучше уйти самому.

— Я не понимаю, почему я должен уходить. Я не преступник, я ничего плохого не делаю. В конце концов мы немало с вами поработали, вы меня знаете....

— Вы меня не поняли. Я не собираюсь вас ни в чем обвинять. Но поймите, за мной большое дело, за мной люди!

Из кабинета Панкратова я вышел в полной уверенности, что дни мои в институте сочтены. Но что лучше: уйти самому или дожидаться пока меня уволят? Конечно, я ни в коем случае не хотел подводить Панкратова. Хотя дружеских отношений с ним не сложилось — я даже никогда не был у него дома — тем не менее человек он был в высшей степени порядочный, честный, поглощенный исключительно делом, далекий от интриг и комбинаторства. Да и то верно — на его плечах держалась лаборатория; с необычайной энергией и упрямством отстаивал он и наши проекты, и интересы сотрудников, добывал деньги и оборудование. От мысли, что все это рухнет по моей вине, мурашки начинали бегать по коже. Но уйти самому, значит, признать себя виновным еще до того, как меня в чем-то обвинили. Поделился своими сомнениями с кухней Академика. Мнение кухни было однозначным: по собственному желанию не уходить, пусть увольняют!

На рабочем столе обнаружил записку: «Звонил Марк, просил перезвонить».

Марк встретил меня как-то особенно тепло, расспросил о здоровье, о делах, перешел к главному.

— Похоже, лед тронулся. В Грузии двенадцать семей получили разрешение. В Риге кое-кому из старых отказников предложили заново подать документы. Здесь тоже нескольких человек вызвали в ОВИР, говорили другим тоном, намекали на разрешение.

— И тебя вызывали?

— Повестка на следующую неделю.

— Очень рад, надеюсь, это разрешение.

— Во-первых, погоди радоваться. Во-вторых, речь не обо мне, а о тебе.

— Обо мне? Но я же не подавал, ты же понимаешь, я не могу оставить Академика.

— При чем тут это? Я ценю Академика не меньше тебя, считаю его святым, только... не наше это дело, понимаешь, не наше! Сколько раз в истории мы уже пытались изменить мир, а что в результате получалось? Вот и в России мы уже однажды устроили революцию. Что из этого вышло, надо объяснять?

— Демократия и права человека — это не революция, это универсальные принципы....

Мы спорили долго, до хрипоты. Наконец Марк сказал:

— Хватит, не хочу больше тебя ни в чем убеждать. В конце концов дело не в том, кто кому больше обязан: мы им или они нам, дело в тебе. Поверь, с твоей биографией ты первым загремишь в лагерь. Но ты уже не мальчик, и сердце у тебя никуда не годится: ты не выдержишь. Ну почему, черт возьми, ты так беспечно относишься к собственной жизни? Ты ведь уцелел один из всей семьи, тебе сам Бог велел уехать. Хотя бы ради твоих родителей! Ну, представь на минутку: приедешь, пойдешь работать в университет, кого-то встретишь, женишься, детишки пойдут. Да и помочь Академику оттуда ты сможешь куда больше, чем из лагеря. Заклинаю тебя, подумай хорошенько!

Разрешение Марк получил через неделю, еще неделю дали ему на сборы. Все эти дни я мотался с ним по Москве в поисках всевозможных справок, помогал собраться в дорогу и главное — сохранить ульпан: припрятать до поры учебники иврита, литературу и другое имущество с тем, чтобы позже передать его в надежные руки.

Наступил день отъезда. Народа в аэропорту Внуково собралось мыслимо-немыслимо, все галдели, шумели,

обнимались с отъезжантом, клялись не забывать, писать, приехать. Кругом же сновали милиционеры, стукачи и незваные фотографы.

Звонок из отдела кадров звучал как приказ:

— Зайдите в кабинет начальника в два тридцать.

Дородный, хорошо одетый мужчина в модном галстуке и с перстнем на мизинце ничуть не походил на кадровика-держиморду. Правда, он не поздоровался, лишь жестом показал на стул и с ничего не значащим выражением лица перешел к делу:

— Что ж, пишите заявление по собственному желанию. Это в ваших интересах: если в трудовой книжке будет соответствующая запись, устройтесь на другую работу.

— Почему я должен увольняться?

— Вы лучше меня знаете, почему.

— Нет, я не понимаю....

— Не понимаете? Тогда мы вас уволим по статье «ходатайство общественных организаций».

Выражение его лица оставалось непроницаемым.

Общественная организация — это партком. Пригласил меня туда высокий женский голос.

— Я — не член партии, зачем мне ходить в партком?

— То есть как? Это же партком, вы понимаете, партком! — голос сделался громче и выше.

На партком я не пошел, пропуск у меня отобрали на проходной в тот же день, когда этот самый партком решал мой персональный вопрос, трудовую книжку с записью «уволен по ходатайству общественной организации» мне прислали по почте.

На кухне Академика увольнение мое приняли как дело, само собой разумеющееся, и тут же дали новое «дипломатическое» поручение. На этот раз в Литву.

Речь шла о том, чтобы помочь литовским католикам, которые составляли важную часть фронды в этой, не вну-

шающей верхам доверия, республике. Правда, литовские ксендзы, большинство из которых прошли лагеря и ссылку, действовали осторожно, держались исключительно в рамках защиты веры и верующих, но и уходить в глухое подполье тоже не хотели. Знать миру о себе и своих делах давали через самиздатовский «Обзор литовской католической церкви». «Обзор» этот они переправляли за границу, где литовские эмигранты не без помощи Ватикана всюду его рассылали и пропагандировали. Оружие оказалось весьма действенным. В какой-то момент литовский католический самиздат начал серьезно беспокоить Москву — литовскому КГБ было указано усилить борьбу с активистами католической церкви и прежде всего с «Обзором». В результате ксендзы вот уже много месяцев не могли переправить его в Москву и, соответственно, за рубеж. Литовских курьеров КГБ выслеживало, арестовывало, а «Обзор» изымало. Когда положение сделалось безвыходным, ксендзы обратились к Академику. Кухня тут же отреагировала, желающих отправиться в Литву нашлось немало, но Академик сказал:

— Подождем, у нас есть человек, который с этим справится лучше других. Он сейчас занят проводами нашего общего доктора, но скоро освободится и поедет. Тем более что с работы его уже уволили.

Через неделю фирменный поезд «Литва» мчал меня по маршруту «Москва—Вильнюс».

### *Глава седьмая*

Первый следователь сказал: «Ну, вот, голубчик, теперь ты от нас так просто не отделаешься! Сколько раз мы тебя прощали, сколько раз думали, возьмется, наконец, человек за ум, вспомнит, кто его от немцев спас, кто в блокаду плечо подставил, кто образование дал, космосом руководить доверил. Да, что верно, то верно: сколько волка

ни корми, он все в лес смотрит! — следовательно помолчал, похлопал рукой по стопке пухлых потрепанных папок. — Здесь на тебя столько собрано, что меньше десятки не жди. Подонок!»

Второй следователь сказал: «Как же это вы так? Умный человек, а попались на дешевую наживку! Вы что не понимаете, что Академик вас подставил? Сам-то он грязными делами не занимается, под статью не идет, а использует для этого простаков, вроде вас. Вас — в тюрьму, а ему очки на Западе. Премии разные и деньги. Расчет-то у него простой: либо наше руководство решит его отправить за кордон, либо детишки его деньгами воспользуются. Вы, кстати, слышали, дочка его за еврея замуж выходит. Специально, чтобы в Израиль уехать. Правда, мы-то знаем: по дороге она в Америку свернет. Так-то у него дела делаются!»

Московский поезд затормозил на вильнюсском вокзале ровно в девять, проводница открыла дверь, протерла тряпкой поручень, сказала: «Можете выходить». Я вышел, вместе с толпой прошел в здание вокзала, устроился в буфете, купил пирожок с повидлом и стакан бурды под названием «кофе». Проглотил пирожок, выпил бурду, взглянул на часы и направился в город. Правда, костел Святого Николая находился далеко от вокзала, ехать туда надо было троллейбусом, но я пошел пешком. И не только потому, что явиться туда должен был ровно в двенадцать, важнее было другое — не привести с собой хвостов. Пошел по Комьяунимо — бывшей Завальной, свернул в Старый город, побродил по университетским переулкам, вышел на проспект Ленина, дошел до кафедрального собора, оттуда по набережной вернулся назад, перешел мост и несколько раз обошел вокруг тяжеловесного здания костела. Хвостов не было. Когда две стрелки часов слились в одну, позвонил в боковую дверь.

Невысокий круглолицый человек лет шестидесяти, с маленькими слезящимися глазами и глубоким шрамом на подбородке, приветливо мне улыбнулся, закрыл дверь и пригласил подняться по деревянной лестнице в «служебную» квартиру.

— Присаживайтесь, пожалуйста, сюда, на стул. Сейчас мы с вами перекусим, чем Бог послал. Пища у нас, знаете ли, простая, уж не взыщите.

Хозяин принес небольшой сверток, выложил на стол копченую утку, достал из банки квашеную капусту, нарезал черный деревенский хлеб. Все это было безумно вкусно, я ел с нескрываемым удовольствием, а он не ел вовсе, а лишь умилительно на меня поглядывал и все расспрашивал. О погоде, о поезде, «который теперь ходит очень быстро», о чем-то еще. Только не о деле.

Отец Казимирас служил помощником настоятеля, служил недавно, ибо после тринадцати лет лагерей и ссылки он еще долго не мог вернуться в Литву — не разрешали. Так что устроился он на жительство в соседней Латвии, где трудился бухгалтером в колхозе. Спустя годы, по причине болезни престарелой матери, ему, наконец, позволили вернуться в Вильнюс. Здесь же, благодаря поручительству епископа, приняли на работу «по специальности». Отец Казимирас сложность своего положения сознавал, а оттого открыто в церковной оппозиции не участвовал, протестных писем не подписывал, но авторитетом у ксендзов и прихожан пользовался большим, роль в католических кругах играл не последнюю.

— Случалось бывать в Литве или впервые в наших краях?

Услыхав, что родом я из Каунаса, сильно удивился, побледнел, спросил, понизив голос:

— А отец с матушкой живы? Немцы, говорите, убили. А может быть, и наши, литовцы. Там много мерзавцев служило. Зверюги они были, зверюги.

Старый ксендз достал большой носовой платок, вытер слезы.

К моему удивлению, отец Казимирас очень хорошо говорил по-русски. Правда, литовские интеллигенты старой школы по-русски говорили прекрасно, однако простые люди чаще всего говорили плохо, небрежно, с сильным акцентом. Поинтересовался:

— Откуда у вас такой хороший русский?

— Известно откуда: из иркутской академии. Была еще и Воркута, но там с ворами сидел и с уголовниками, а вот в иркутских лесах лес валил с поэтами, художниками, актерами. От них и научился.

— А это, — я показал на шрам на подбородке, — тоже из сибирских лесов?

— Нет, это от немца. Я во время войны в Ведукле жил. Местечко маленькое, а вокруг лес. Так вот в этом лесу, на большой опушке, немцы лагерь разбили для русских военнопленных. Ужас там творился, слов нет! Солдатики — мальчишки лет девятнадцати-двадцати, израненные, измученные, оборванные — смотреть страшно. Я как-то набрал мешок сухарей да кое-что из одежды, подошел к воротам, встал перед охранником на колени, говорю: «Разреши, Христа ради, передать хлебушка. Тоже ведь люди, Божье творение». А немец мне со всего размаха в лицо сапогом. С тех пор след и остался. Да это ничего, красоту мою не сильно испортил.

Первое знакомство состоялось, я чувствовал, что подозрений у отца Казимираса не вызвал. Однако о деле — молчок. Только как бы между прочим спросил:

— В Юрбаркасе случайно не бывали?

— Не довелось.

— Ну, вот и хорошо, завтра мы туда съездим, посмотрим на литовские красоты. А сейчас я дам вам адрес, там и переночуете. Но явиться туда нужно к семи. Пока по городу погуляете, время и пройдет.

Первый следователь сказал: «Все, теперь ты — чистая вражина. Это надо же такое нести: “Собственные законы

не соблюдаете, права человека нарушаете!” Да кто тебе, мерзавцу, дал право партию и правительство судить? Кто тебя, слюнтяя, уполномочил права людей защищать? Тебя бы сейчас к этим самым людям, в рабочий коллектив, так ведь разорвали бы на части! Нет, нет, ты у меня семеркой не отделаешься. Провалиться мне на этом месте, если я твою семидесятую на шестьдесят четвертую не переквалифицирую и не врежу тебе, гаду, по полной программе — все пятнадцать!»

Второй следователь сказал: «Зря упрямитесь. Поймите же, ваши взгляды нас не интересуют; можете оставить их при себе. Более того, скажу откровенно, я во многом с вами согласен. И частную торговлю надо бы разрешить, и за границу людей свободнее выпускать, и Высоцкого запрещать ни к чему. У меня самого полная его коллекция. Короче, мы бы давно в Комитете все нужные реформы провели, да партия мешает. Но с Академиком — другое дело. Он ведь к высшим государственным секретам был допущен, вхож в святая святых! А сейчас иностранные агенты у него из дома не выходят. Тут и предательство, и шпионаж! Ладно, давайте сделаем так: вы выступите в печати и расскажете, как вас Академик завербовал, а от взглядов своих можете не отрекаться, это не обязательно. Я тогда к начальству пойду, договорюсь, чтоб дали вам года три, а уж через год освободили и отправили в Израиль. Договорились?»

Убивать время не пришлось.

Иду по проспекту, поглядываю по сторонам и вдруг вижу, несется на меня какой-то тип. Я отскочить не успел, и он так сильно меня толкнул, что я едва на ногах удержался. Со злости ухватил его за рукав: «Ты что, сумасшедший?» Он остановился: растрепанный весь, пальто нараспашку, галстук на боку, пиджак расстегнут. Тут я в лицо ему взглянул и ахнул: Лазик! Он тоже застыл как вкопанный, смотрит на меня и, видимо, своим глазам не верит.

Через минуту он пришел в себя, обнял меня за плечи:

— Старик, неужели это ты? Я тебя полгода разыскиваю. По Би-би-си о тебе сто раз слышал, а найти никак не мог.

— Вот так встреча! Только скажи сначала, что с тобой, чего это ты несешься сломя голову, да еще в таком виде?

— Да так, с папашей разговор состоялся...

После развода с Аллой Марианна от дома мне отказала и Лазик упретила со мной видеться. Правда, пару раз он запретом жены пренебрег, встречались мы с ним в кафе «Березка», что возле его института, но разговор не клеился: он все больше об интригах в своем институте, об очередной поездке Марианны в Варшаву, о предстоящей командировке в Америку. Вот она-то, Америка, его более всего и занимала. При слове «Нью-Йорк» глаза его загорались, он начинал ерзать на стуле, потирать от удовольствия руки. Его страсть была мне непонятна, интриги в его институте меня не интересовали, а уж что там купила Марьяна в Варшаве — тем более. С другой стороны, и Лазика мало занимали подробности моей предстоящей защиты, оживился он лишь, когда я рассказал ему о знакомстве с доктором, который преподает иврит и собирается уезжать в Израиль. Лазик оживился и замахал руками:

— Так нельзя, старик. В этих делах надо быть осторожным. Сейчас мода пошла — диссиденты, правозащитники, отказники! Но ты смотри в оба, с ними так замараться можно, что потом не отмоешься.

После этого разговора мы не встречались, и вот тебе раз — столкнулись лоб в лоб здесь, в Вильнюсе, на центральном проспекте!

— Зайдем в «Нерингу»? — мы стояли напротив входа в это богемное кафе. — Я до семи свободен.

— В «Нерингу»? Ты что, старик, да там в каждый столик микрофон вмонтирован!

Лазик потащил меня в переулок, завел в какую-то столовку, где было грязно, накурено, пахло подгоревшим маслом и чем-то еще.

— Рассказывай!

— Что рассказывать? — лицо Лазика перекопилось от злобы. — Сволочи они все, мерзавцы! Все, как один!

— Кто сволочи, кто — мерзавцы? Что случилось? Давай по порядку.

— Что по порядку? Ты ведь знаешь, условие у меня было простое — отсидеть два года в этой вшивой конторе под названием «Институт США и Канады», а потом командировка в Нью-Йорк. Подстраховался я со всех сторон: все, от кого это зависело, дали добро. Вот я и сидел два года в младших сотрудниках, на ста рублях, на иждивении у тещи, черт бы его побрал! И — ты представляешь! — в последний момент объявляют новый конкурс и... отправляют в Нью-Йорк какого-то босяка, который неизвестно откуда взялся, едва лопочет по-английски, и вид у него, как у последнего лоха. Марьяна — в истерике, я не знаю, что делать...

— Подожди, подожди, а тещь-то у нас на что?

— На что, на что! Пошел он, куда положено, а ему там такое наговорили, что он теперь на меня волком смотрит и все шипит: «Не видать тебе Нью-Йорка, как своих ушей!»

— А твой отец не может помочь?

— Пробовал меня в Прагу засунуть. Как бы от Литвы. Тоже не прошло. Он после этого руки опустил, теперь только и твердит: «Переждать надо, время сейчас неподходящее». Но сколько я ждать должен, всю жизнь? Да и Марьяшка на стену лезет. Мать ее то и дело подначивает: «Говорила тебе за него не выходить, говорила!» Все они мерзавцы, все — сволочи!

— Что ж теперь?

— Теперь? Теперь я им покажу, они еще меня вспомнят!

Тут Лазик притих, как-то по-особенному на меня взглянул.

— Помоги, старик, получить вызов. У меня там, в Париже... у меня там такие возможности, такие перспективы, ты себе не представляешь.

— Из Франции не могу, а вот из Израиля — не проблема. Только кто же тебя отпустит! Люди самые что ни есть простые годами сидят в отказе, а что б сына Секретаря отпустили! Нереально это, старик.

— Сына, говоришь? А вот им дулю! Я все бумаги проштудировал: усыновление-то было незаконным! Секретарь тогда отдал распоряжение — этого парня на мою фамилию записать, и точка. А по закону-то как положено? Если ребенку на момент усыновления исполнилось двенадцать, требуется его согласие. Согласия-то моего в деле нет! Я сегодня ему так и сказал — подаю в суд. Пусть аннулируют усыновление и вернут мне прежнюю фамилию.

— Что он?

— Кричал, топал ногами, а потом сел и заплакал.

— Не жалко тебе его?

— Жалко, жалко! А меня кто пожалеет? Мне что, всю жизнь в младших научных ходить? Да у меня в Париже...

В столовке мы просидели до закрытия, потом немного прошлись по проспекту и распрощались. Устроить вызов Лазику я обещал сразу по возвращении в Москву.

Первый следователь сказал: «Все, кончил с тобой возиться: наскреб на десятку, а может, и на все пятнадцать. Теперь передам тебя литовским товарищам. У них на тебя большой зуб, врежут они тебе — мало не покажется!»

Второй следователь сказал: «Ну что вы за человек — собственными руками жизнь себе калечите! Взяли хотя бы пример с главного грузинского диссидента. Он на днях по телевидению выступил, сказал так, мол, и так, боролся я и буду бороться за независимую Грузию, но с Академиком мне не по пути. Я — грузинский патриот, а он шпион, за американские деньги государственные тайны продает. Так что сидеть ваш грузинский коллега будет не долго.

Вскоре мы его отпустим, пусть себе живет на даче с сыном и красавицей-женой. А вот насчет вас звонили из ЦК. Сказали: процесс провести в провинции, корреспондентов туда не пускать и столичных диссидентов тоже. Так что никто и не узнает, что с вами произошло».

Пани Ядвига, высокая, худая, громкоголосая женщина неопределенных лет, накормила меня ужином, постелила на диване в малюсенькой комнатке, сама устроилась на кухне. Ни свет ни заря в дверь постучали; на пороге с пухлым стареньким портфелем в руках стоял отец Казимирас. Я оделся, ополоснул лицо и отправился с ним на автобусную станцию. Мы сели в автобус, на какой-то совсем неприметной остановке вышли, долго стояли, дожидаясь другого автобуса. Поехали дальше. По пути выпили чаю из термоса, закусили бутербродами, снова пересели, снова поехали:

— Не проще ли было в Юрбаркас поездом добираться?

— Про Юрбаркас я им сказал, — отец Казимирас поднял вверх палец и хитро подмигнул, — квартира моя, знаете ли, радиофицирована.

Когда начало темнеть, мы вышли из очередного автобуса и еще долго шли пешком. Наконец, в кромешной тьме, добрались до какого-то хутора:

— Здесь и заночуем.

Проснулся я от стука топора — на дворе кто-то колот дрова. Протер глаза, натянул брюки. Отец Казимирас, бодрый и чем-то очень довольный, суетился возле стола, раскладывал на оловянные тарелки огурцы и помидоры, разливал в кружки воду из бочки.

Через какое-то время стук топора прекратился, дверь запахнулась, на пороге в выцветшем, повидавшем виды монашеском одеянии стоял высокий, худой мужчина с непропорционально длинными руками. Едва взглянув на гостей, он молча подошел к столу, сел, прочел про себя молитву, мы приступили к трапезе.

Отец Станисловас жил отшельником, благ цивилизации избегал. Даже электричества у него не было! Кроме молитвы и тяжелого физического труда, выполнял он еще и обязанности ксендза для обитателей разбросанных вокруг хуторов: отпевал, крестил, служил мессы в небольшой, полуразрушенной часовне, что скрывалась от посторонних глаз в лесочке, возле ближайшего озера.

После трапезы отец Станисловас пригласил меня осмотреть свое хозяйство, из которого самое сильное впечатление произвела на меня кузница. Прimitивная, века, возможно, семнадцатого, она тем не менее давала своему хозяину возможность ковать незамысловатый инструмент для себя и для соседей, клепать обручи для телег и бочек, выправлять подковы. Предметом же особой гордости монаха-отшельника были кресты. Большие и маленькие, простые и замысловатые, в традиционном литовском стиле и строго каноническом. Эти же кресты были и предметом его тяжбы с властями, ибо ковал их отец Станисловас не удовольствия ради, а для того, чтобы устанавливать в разных местах. Каких именно, знал он один, но поговаривали, что места эти были связаны с боями, которые вели литовские партизаны с советскими солдатами в первые послевоенные годы. В одном месте была база лесных братьев, в другом — шел бой, в третьем кого-то расстреляли. Так это было или не так, никто уже не помнил, но районный милиционер, объезжая вверенную ему территорию, кресты вырывал, отца же Станисловаса вызывал в милицию, писал на него в прокуратуру. Монаху присылали предупреждения, штрафы, грозили арестовать и выслать.

Отец Станисловас на угрозы не реагировал, штрафов не платил, ни в какие переговоры не вступал, а продолжал ковать новые кресты и устанавливал их на месте прежних. Дело приняло серьезный оборот, за отца Станисловаса взялся было КГБ, но тут история с крестами через «Обзор литовской католической церкви» попала в западные га-

зеты. Католики со всего мира, даже из Австралии, стали забрасывать советские посольства письмами: как же так, поставить крест — государственное преступление? Посоветовавшись с Москвой, в Вильнюсе решили, что отправить «сумасшедшего монаха» за решетку — себе дороже! При этом, правда, кресты, им установленные, велено было, как и прежде, «ликвидировать».

Осмотрев хозяйство, я вернулся в дом, обратив внимание, что от ворот хутора незаметно отъехала крестьянская повозка.

Отец Казимирас зашпешил: как бы вам на поезд не опоздать!

Распрощавшись с отшельником, мы отправились в обратный путь. Снова шли пешком по непроезжим дорогам, ехали сначала одним автобусом, потом — другим, потом закусили, потом поехали снова. Неожиданно отец Казимирас поднялся со своего места:

— Я сейчас выйду, а вы езжайте до конца. Как пройти от автобусной станции к вокзалу помните? Вот и хорошо, как раз к московскому поезду и успеете. А это вам почитать, — старый ксендз протянул мне пачку газет «Правда», — только в дороге не читайте, вредно для глаз.

Отец Казимирас слегка улыбнулся, пожал мою руку и был таков.

Совета я не послушал, в поезде газетный сверток развернул и только когда обнаружил между его страницами листки тонкой папиросной бумаги, на которых были отпечатаны «Обзоры литовской католической церкви», успокоился — дело сделано! Засунул «газеты» в чемоданчик, положил его под голову и проспал до самой Москвы. Во сне я видел натруженные руки отца Станисловаса, горн, наковальню и кресты, которые он ковал и устанавливал, потом снова ковал и снова устанавливал.

Шум и толкотня Белорусского вокзала вернули меня из семнадцатого века в двадцатый.

Вышел на перрон и решил было, коль скоро я уже в Москве, поехать к Академику, отдать «газеты». Но тут же передумал: очень уж хотелось отдохнуть, переодеться, прийти в себя. В конце концов какая разница — сегодня, завтра...

Разница оказалась большой.

В почтовом ящике лежало письмо. Конверт был изрядно потрепан, обратный адрес на нем был чем-то заляпан. Удивился, вскрыл. Линованный лист бумаги, неаккуратно вырванный то ли из школьной тетради, то ли из какого-то блокнота, был исписан очень ровным, очень мелким почерком. Откуда это, кому? Может быть, вовсе не мне, может быть, почтальон что-то напутал? Еще раз взглянул на конверт. Все правильно: фамилия моя, адрес мой. Ах, вот оно что, наверное, какой-то проситель из провинции, узнав мой адрес из радиопередач, решил по нему и обратиться. Я вскрыл конверт: так чего же ты просишь?

«Милый друг, если бы вы знали, как безмерно была я счастлива, услышав по радио ваше имя! Я долго не могла поверить своим ушам, но потом убедилась: это вы! Долгие, долгие годы я жила с уверенностью, что вы, Жанна, Лазик... — письмо чуть не выпало из моих рук: почерк, где я видел этот почерк? — ...и все ваши родные погибли. Начну, однако, с того, что не совсем уверена, помните ли вы меня. Шутка ли, последний раз мы виделись в апреле сорокового!»

Ноги подкосились, я буквально рухнул на стул и схватился за сердце, пытаюсь унять его бешеный ритм. Сомнений не оставалось — письмо пришло из той далекой, самой первой и самой счастливой поры, о которой у меня сохранились смутные — да было ли такое! — воспоминания. И автором его была та необычная девушка, что белым лебедем пролетела над рекой моей ранней юности, подарив мне несколько незабываемых встреч и возбуждив в моей душе целый букет нежнейших чувств.

Я отложил письмо, пошел на кухню, дрожащими от волнения руками поставил на огонь чайник и, лишь немного придя в себя, принялся читать дальше.

«В далекое путешествие мы отправились с отцом и теткой третьего июня сорокового. Сначала ехали вместе, в общем вагоне, но потом отца пересадили в другой поезд, больше я его не видела. Нас же еще долго везли и привезли на самый север. Северной некуда. Там было так холодно, что тетя почти сразу умерла. А я работала. С утра до ночи работала, ровно десять лет работала. Работа меня и спасла, но к концу я сильно заболела — легкие. Но так как срок я все же выдержала, меня перевели южнее, где я работала в лесу на свежем воздухе, и с легкими стало легче. Но однажды во время работы на меня упало дерево, в результате я потеряла ногу и стала полным инвалидом. Тогда меня — уже навсегда — поселили в той деревушке, откуда вам и пишу. Домов у нас всего двадцать, да и то некоторые заколочены. Зато здесь живут несколько сердобольных бабушек, которые меня не оставляют: то принесут лепешку, то пару картофелин, то еще что-то. Благодаря этим старушкам я и живу, самой-то мне даже выйти из дома трудно. А еще в нашей избе жил старичок — искусствовед из Ленинграда, который год назад умер и оставил мне в наследство старенький радиоприемник. Этот приемник принес настоящее счастье. Теперь у меня появился стимул: дожить до следующей передачи, потом еще до одной... Милый друг, я очень надеюсь, что это письмо вас найдет. Всем сердцем желаю вам прийти к тому, к чему вы стремитесь. Ваша Альма».

Я ходил из угла в угол и, пытаясь справиться с волнением, лихорадочно вспоминал, как же она выглядела. Стройная — да, длинные прямые волосы — да, белая шелковая блуза — да. Приветливая улыбка? Нет, скорее строгая.

Когда волнение немного улеглось, почувствовал, что вконец обессилел. Конечно, сказал я себе: две ночи ты провел в поезде, две ночи спал, Бог знает, где. Так что в

магазин успеешь сходить завтра, а сейчас приляг, поспи, ответ напишешь прямо с утра.

Проснулся я от стука в дверь. Взглянул на часы: восемь утра. Чертовщина какая-то, соседи что ли? Только почему так рано?

Их было шестеро. Тот, кто представился «прокурором», достал бумагу, назвал ее ордером на обыск и предложил добровольно сдать «всю антисоветскую литературу». Я молчал, но прокурор, видимо, и не рассчитывал на ответ:

— Тогда начнем.

Понятые скромно уселись за стол, оперативники приступили к делу.

Обыск был недолгим, но тщательным. В картонную коробку пошли все письма, в том числе и письмо Альмы, черновики статей, две книги Набокова, учебник иврита, сборник стихов на идише советского издания, перепечатанный на машинке роман «Собачье сердце» без указания автора.

— Где еще храните антисоветские издания? Костя, провь-ка чемодан.

Оперативник взял чемоданчик, который я вчера бросил у дверей, вытащил оттуда пижаму, носки, полотенце, бросил на стол пачку газет. Потом поднял чемодан, постучал по его стенкам.

— Нету.

Прокурор задумался, почесал в затылке, сказал:

— Ищите, должно быть.

Обыск продолжился, но тут один из понятых — от скуки, понятно, — потянул к себе газету, развернул ее...

Обыск тут же прекратился, прокурор скомандовал:

— Одевайтесь!

Меня посадили в одну «Волгу» вместе с оперативниками, прокурор и понятые уселись в другую; машины взяли курс на Москву.

Справа мелькнули покосившиеся хаты старой Красноголовки, позади остался мост через Москву-реку: маши-

ны на большой скорости мчались в столицу. Я смотрел по сторонам, в голову же лезли странные мысли. Первый раз меня везли «туда» на мотоцикле, второй — на милицейском ГАЗике, а сейчас — на черной «Волге». Даже на двух. Должно быть, я стал важной персоной!

Через час две черные «Волги» въехали в ворота Лефортовской тюрьмы.

Угрозы следователей передать меня «литовским товарищам» я принял за очередную уловку, смысл которой был мне неясен. Однако же продолжал твердо придерживаться третьей заповеди диссидента: не верь ни одному слову следователя! Сомнения начали закрадываться, когда прекратились вызовы на допросы. К чему бы это? Оказалось, к тому самому, о чем говорил и первый, и второй следователи: к отправке. Однажды двери камеры открылись в неурочное время, прапорщик сказал: «Собирайте вещи» — и повел меня в главный корпус.

Из разговоров бывалых зэков я знал, что самое страшное — это пересыльная тюрьма. Ее я и боялся. Обошлось. Везли меня в арестантском вагоне, прицепленном к товарняку, который всюду останавливался и подолгу стоял. Тем не менее на третью ночь меня вывели из вагона на каком-то полустанке, пересадили в такую же черную «Волгу», что полгода назад мчала меня из Красногоровки в Москву, и повезли в неведомом направлении.

Тот факт, что я попал во внутреннюю тюрьму КГБ, сомнений не оставлял, вопрос был в другом: в какое именно КГБ, в литовское? Когда рассвело, понял — да, в Литовское. Одиночная камера, узкая, словно купе плацкартного вагона, находилась в полуподвальном помещении и заканчивалась зарешеченным окном, которое глядело в затянутый паутиной колодец. При этом часть окна, сантиметров этак двадцать, возвышалась над тротуаром. Мужские ботинки, женские туфли, детские ботиночки мелькали в этом узком просвете все чаще и чаще, напоминая о том,

что там, на воле, начинается новый день. Когда-то давным-давно я ходил возле этих решеток, пытаюсь представить себе узника, который сидит там внутри и смотрит на мои ботинки! Так вот, дорогой мой, теперь мы с тобой поменялись местами: ты ходишь возле этих решеток, а я смотрю на твои ботинки!

Смотреть не возбранялось, главное — в пререкания с надзирателями не вступать, режим соблюдать, отвечать на вопросы четко и ясно. Сами же надзиратели на вопросы не отвечали. Да и что они могли ответить — загадка ведь состояла в том, почему меня здесь держат и никуда не вызывают? Неделю не вызывают, другую не вызывают, на третью, наконец, дверь открылась, прапорщик сказал:

— Будем подниматься.

Поднимали меня не по той парадной лестнице, что много лет назад, когда впервые привезли в это здание. А вот коридоры были все те же: бесконечно длинные, со множеством одинаковых дверей. Прапорщик остановился у одной из них, постучал, открыл дверь:

— Проходите к следователю.

У стола стоял человек среднего роста, в темном пиджаке и темном же галстуке, с тщательно зачесанными назад жиденькими волосами. Удивительно: он одновременно походил и на первого московского следователя, и на второго, хотя те друг на друга похожи не были. Следователь бросил на меня долгий пронзительный взгляд, показал на стул и уселся за рабочий стол.

— Меня зовут майор Лазаревичус, я тут разгребаю ваше дело. Да, московские товарищи поработали немало, но меня, прежде всего, интересуют эпизоды по нашей республике. Тут много вопросов накопилось. Но сначала обязан предупредить: наказание будет зависеть от того, как вы поведете себя со следствием. Будете сотрудничать — можете рассчитывать на снисхождение. Впрочем, что я вам это говорю, вы ведь человек образованный, кандидат наук. У нас-то в республике всей этой кутерьмой занима-

ются люди темные, невежественные, как говорится, осколки проклятого прошлого. Другой себя за ксендза выдает, а образования-то — пять классов! Честно говоря, я сильно удивлен, как это вы с такими людьми могли общаться, тем более что все они — отъявленные антисемиты. А у других и вовсе руки в крови. У меня, знаете ли, есть друг Яша, так его просто трясет, когда он слышит обо всех этих, с позволения сказать, диссидентах. Так мне и говорит — как это по нашей земле ходят люди, которые моих родителей убили, куда КГБ смотрит! Ваши родители ведь тоже погибли в Каунасском гетто. Трагедия, такая трагедия! Наверняка литовские бандиты к этому делу руку приложили, а теперь строят из себя правозащитников. Ну, так начнем. Когда вы к нам первый раз приехали, с кем встречались?

На допросы меня водили два раза в день — утром и после обеда. Происходили допросы вяло, Лазарявичюс с постным лицом задавал одни и те же вопросы, я в тон ему отвечал, что отказываюсь давать показания, потому что следователь не разъяснил... потому, что данный вопрос угрожает моему положению... потому что... Короче, использовал весь набор возможностей уйти от ответа, которые предусматривал Процессуальный кодекс. В общем, мы словно отсиживали с ним положенные часы, чтобы на следующий день начать все сначала.

Между тем наступила зима, за окном то и дело проносились снежная поземка, туфли исчезли, вместо них замелькали женские сапоги, тяжелые мужские ботинки, детские валеночки. Снега с каждым днем становилось все больше, утрами, в еще предрассветную пору, меня будил скрежет лопат: сугробы вокруг важного учреждения убирали регулярно и тщательно.

В первых числах декабря Лазарявичюс вдруг засуетился; меня вызывал раза по три на день, сам выглядел бледным, уставшим, под глазами зависли синяки. Десятого декабря он, однако, был в приподнятом настроении, да и выглядел как человек, собой очень довольный.

— Ну вот, дело закончил, обвинительное заключение тоже готово. Сейчас оно в прокуратуре; как только его там утвердят, получите экземпляр для ознакомления. А теперь подпишите протокол и давайте решать вопрос с адвокатом.

Я назвал фамилии московских адвокатов, которые не раз и не два участвовали в диссидентских процессах. Лазаревичус замахал руками:

— Забудьте и думать о москвичах. Адвокат может быть только из республиканской коллегии и только из тех, кто имеет допуск к политическим статьям. У нас своя республика, и адвокаты должны быть свои. Вот список, выберите любого и дайте мне знать, я с ним свяжусь.

Слова следователя меня смутили. Я знал, что московские адвокаты участвовали в процессах над диссидентами в провинциальных городах, но в других республиках? Весь вечер я так и сяк вертел в руках список: фамилии «допущенных» адвокатов мне ровным счетом ни о чем не говорили. Закрыв глаза и наугад ткнул пальцем: Словинас Юриус Александро, что означало Словин Юрий Александрович. Ну что ж, Словин, так Словин!

На ознакомление с делом мне отвели неделю, начал его читать с конца, с обвинительного заключения. Выглядело оно внушительно.

«Утверждаю»

Прокурор Литовской ССР

Государственный советник

юстиции 2-го класса..... А. Кайрялис

## ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По уголовному делу № 49

«Проведенным по делу расследованием установлено, что обвиняемый в силу своих антисоветских сионистских убеждений и в целях подрыва и ослабления советской власти:

1. Написал и отпечатал на пишущей машинке роман антисоветского и клеветнического характера под названием «Собачье сердце», который был изъят при обыске на квартире обвиняемого.

2. Обвиняемый хранил и распространял литературу антисоветского содержания, нелегально доставленную из-за рубежа. При обыске у обвиняемого были изъяты антисоветские романы: «Машенька» (автор В. Набоков), «Побег» того же автора, «Экзодус» автора Л. Уриса, а также сборник стихов на еврейском языке националистического содержания. Кроме того, обвиняемый в течение длительного времени в устной форме распространял сведения, порочащие внутреннюю и внешнюю политику советского государства. Согласно показаниям свидетелей, обвиняемый утверждал, что в Советском Союзе нет свободы слова и демократии и что внешняя политика Советского Союза определяется имперскими устремлениями партийной верхушки. Обвиняемый также систематически расхваливал политику и образ жизни США и Израиля.

3. Обвиняемый систематически в устной и письменной форме разжигал национальную рознь, клеветал на литовский народ, называя литовцев темными, бездарными людьми. поголовно всех литовцев обвинял в антисемитизме и в участии в истреблении евреев.

4. Обвиняемый вступил в преступный сговор с антисоветским подпольем в Литве, установил регулярную связь с ранее судимым за антисоветскую деятельность Станиславом Баранаускасом и другими лицами, придерживающимися антисоветских националистических взглядов. Обвиняемый получал от Баранаускаса и передавал на Запад рукописные сборники антисоветского содержания — «Обзор литовской католической церкви». При обыске на квартире обвиняемого были изъяты три выпуска (№ 21, 22, 23) указанных сборников. Следствие установило, что 14 эпизодов в этих сборниках являются заведомо вымыш-

ленными с целью опорочить национальную политику, проводимую советским государством».

Далее следовало перечисление статей Уголовного Кодекса Литовской ССР, под которые подпадали мои злодеяния, справка о «важнейших следственных действиях», перечень свидетелей. Завершали документ подписи его авторов:

Ст. следователь по особо важным делам  
следотдела КГБ при СМ Литовской ССР, майор Лаза-  
рявичюс

Начальник следственного отдела КГБ  
при СМ Литовской ССР, полковник Круглов

Председатель КГБ  
при СМ Литовской ССР, генерал-майор Петкявичюс

Не успел я приступить к чтению самого дела, как дверь камеры открылась, надзиратель скомандовал:

— Собирайтесь. К адвокату.

Седые, аккуратно зачесанные назад волосы, серый в полоску костюм английского покроя, начищенные до блеска туфли, яркий галстук и главное — рубашка с запонками. Где я все это видел? Отец! Именно так одевался мой отец: сшитый у хорошего портного пиджак, модный галстук, крахмальный воротничок рубашки и непременно запонки: хрусталь, эмаль в золоте, синий или зеленый камень. Этим — пиджаком, галстуком и запонками — сходство между двумя адвокатами заканчивалось. С клиентами отец держался солидно, говорил убежденно, собеседнику смотрел в глаза, жестикуляции избегал. Словинас вел себя со мной одновременно и как с преступником, и как с непонятым чужаком-пришельцем, и как со своим парнем. Глаза его смотрели куда угодно, но только не на меня, длинные бледные пальцы постоянно находились в движении, словно чего-то искали и не находили.

Начал Словинас тоном официальным, говорил по-литовски. Убедившись, что я его отлично понимаю, перешел на русский и говорить стал, будто я его давний знакомый:

— Паршивую они вам статью приклеили, срок по ней — семь лет. Ну, предположим, по первому пункту я вас отобью. Конечно, про Булгакова упоминать не стану — как докажешь, что он автор? Но и прокурор не докажет, что какой-то инженер взял да и с бухты-барахты написал целый роман! Нет, это у них не пройдет! Тем более что судья — женщина образованная. Настя Браудо, скажу вам, единственный культурный человек во всем Верховном суде. Молодая, симпатичная, профессором была в юридическом институте. Оттуда и пришла в суд — не из какой-нибудь там милиции или прокуратуры!

— Браудо, вы говорите?

— Нет, нет, не думайте. Анастасия Ивановна только по мужу Браудо. Она из местных русских. Муж ее — толковый мужик, лучший криминалист в республике, полковник. Единственный из наших, кто в МВД еще держится.

Словинас вдруг замолчал, решив, видимо, что сболтнул лишнее, сделал строгое лицо и вернулся к делу:

— По второй части заявим так: всю антисоветскую и сионистскую литературу вам оставил кто-то из уехавших. У вас, кажется, был знакомый врач, который уехал в Израиль? Так и скажете: мой лечащий врач перед отъездом передал мне вышеуказанную литературу, которую я даже не читал.

— Но это звучит наивно: книги стояли у меня на полке, а я их не читал! Лучше спросить у суда, почему они считают романы Набокова антисоветскими. Пусть докажут...

— Вы меня слушайте, меня! Я знаю, что говорю, — Словинас вдруг нахохлился, покраснел. — Что такое антисоветское? Вы говорите «не антисоветские», а Паулаускас скажет — «таки да, антисоветские!» Вот и начнется карусель. Вам это нужно? Не читал, и баста!

— Кто такой Паулаускас?

— Из новых. Выскочка, карьерист. В прокуратуре недавно, а уже рвет подметки. Правда, плечо у него солидное — папаша секретарь райкома. Но мы-то знаем, что дядя у него в Америке. И сильно замаран. Так что еще посмотрим, какую этот сопляк карьеру сделает, — Словинас замолчал и задумался. — Но раз уж ваше дело ему поручили, стараться он будет изо всех сил. Ладно, третья часть тоже не очень страшная. Следователь нашел каких-то свидетелей, которые скажут, будто вы литовцев костерили направо и налево. Это мы смажем. Я заявлю, что вы поверили слухам, будто ваших родителей литовцы убили, а вы скажете, что у вас есть друзья литовцы: придумайте там — Пранас, Йонас — я знаю! В общем, вторая и третья часть — ерунда, тянет максимум на два года. Главное — это четвертая часть. Вот где вся соль, вот где вам могут накрутить на всю катушку!

— Но ведь факты из «Обзоров» действительно имели место, разве это клевета!

— Вы рассуждаете, словно ребенок. Какие факты, где факты? Вы что серьезно думаете, что эти темные ксендзы факты проверяют? Да они просто поставляют материал для Ватикана и для литовской эмиграции. Там большие деньги крутятся и большая политика делается. Боже мой, ну зачем вы влезли в это дело, совсем это не ваше. Ну — совсем!

— Я думал, вы пришли меня защищать...

— Вот именно, защищать! Но защищать-то надо с умом. У вас по четвертому пункту только один выход. Сказать надо так: Академик попросил меня съездить в Литву, захватить какие-то бумаги. Но, какие именно, я не знал, «Обзоры» не читал, что в них написано, — не знаю. Глядишь, Браудо решит, что вас использовали втемную. Отделаетесь тремя годами.

Я слушал Словинаса и не слышал. Мучил вопрос: сумею ли сам себя защищать?

В понедельник, 19 декабря, меня повезли в суд. Посадили в «воронок» и повезли. Странно, здание Верховного суда находилось в пяти минутах ходьбы от «Большого дома», а «воронок» колесил добрых четверть часа. Наконец он остановился у каких-то железных ворот, мы въехали в закрытый со всех сторон двор, мне приказали выйти, через неприметную дверь провели в пустующий коридор, усадили на скамейку, велели ждать. Ровно в десять ввели в зал суда. Он был полон и шумен.

Как только меня усадили, шум стих, секретарь, полная, высокая блондинка, поднялась со своего места и скороговоркой огласила состав суда: «Председательствующая — член Верховного суда Литовской ССР Браудо Анастасия Ивановна. Государственный обвинитель — помощник прокурора Литовской ССР, советник юстиции Паулаускас Алексис Антано. Заседатели, защита...»

Секретарь кончила бубнить, председатель суда, хорошо причесанная, строго, но изящно одетая дама, похожая скорее на администратора театра, чем на судебную чинушу, не поворачивая головы в мою сторону, спросила:

— Обвиняемый, у вас есть ходатайства?

— Ходатайствую об исключении из процесса адвоката Словинаса, берусь защищать себя сам.

Председательствующая что-то сказала одному заседателю, потом — другому и тем же невозмутимым тоном объявила:

— Суд удовлетворяет ходатайство обвиняемого.

Пожимая плечами, Словинас поднялся со своего места и направился к выходу. Как только огромная массивная дверь перед ним открылась, в зал донеслись крики, шум, возня. Кто-то кричал:

— Пропустите меня... не имеете права... только по пропускам... зал полон...

Невозмутимость исчезла с лица судьи, она пошептала с одним заседателем, потом с другим и... объявила перерыв.

Два охранника мгновенно подскочили ко мне, вывели совсем другим путем, нежели ввели, спустили вниз по лестнице и закрыли в каком-то служебном помещении.

Через час меня снова привели в зал суда. Я сел и стал внимательно разглядывать публику. Знакомых лиц не было. Значит, никого из наших в зал не пустили. Подумал: интересно, кто же приехал из Москвы? Может быть, Академик? Впрочем, не важно, лишь бы никого не арестовали.

Не успел я об этом подумать, как со своего места встал обвинитель. Высокий, красивый, совсем еще молодой человек, очень похожий на известного спортивного комментатора, говорил громко, заинтересованно, от души, говорил так, словно обличить и упрятать меня за решетку было делом всей его жизни. Я опешил: облик этого молоденького прокурора никак не вязался с моими представлениями о литовцах. Верно, они и раньше ходили на службу советской власти. Одни — переметнувшиеся леваки-интеллигенты старой школы — получали высокие должности, числились председателями различных творческих союзов, президентами всевозможных институтов и учреждений, но никакой реальной власти не имели, ибо за спиной у каждого маячил присланный из Москвы «заместитель». Таких зиц-председателей было немного, имена были у всех на слуху. В большинстве же своем на службу новому режиму шли темные, полуграмотные, всегда чем-то обделенные и озлобленные люди из литовской глубинки, из Белоруссии или России. Эти служили новой власти не за страх, а за совесть. Но, как мне казалось, сколько-нибудь приличный человек из приличной же литовской семьи советскую власть должен ненавидеть, куда-куда, а в прокуратуру служить он не пойдет. А тут молодой, образованный, не из деревни и не из Белоруссии... Может быть, мне что-то неправильно казалось?

Прокурор, между тем, кончил читать обвинительное заключение и устремил подобострастный взгляд на судью. Та некоторое время молчала, потом, не поворачивая головы в мою сторону, спросила:

— Обвиняемый, вам понятно, в чем вас обвиняют, признаете себя виновным?

— Не признаю.

Посоветовавшись с заседателями, председательствующая объявила прения сторон. Слово снова взял обвинитель и попросил пригласить свидетеля по первому пункту обвинения. Свидетеля этого он назвал «академиком, директором института литовского языка и литературы».

Высокий сухой старик, близоруко щурясь, первым делом поведал, что считает рукописный роман «Собачье сердце» «антисоветским, клеветническим и хулиганским», но выразил сомнение, что столь значительное — конечно, с литературной точки зрения! — произведение мог написать человек, не имеющий литературного образования. На этом председательствующая объявила, что суд переносится на следующий день.

Второй день суда начался с допросов свидетелей по второму и третьему пунктам обвинения. Свидетелей было много, никого из них я прежде не встречал, где и когда они слышали мои «антисоветские» и «антилитовские» высказывания, так и осталось для меня неясным. Лишь один из них дал повод высказаться по существу. Малорослый «почетный пенсионер» заявил, что в 1952 году работал на заводе «Швинтурис» и не раз слышал, как обвиняемый — «инженер по оборудованию» — «всех нас, литовцев, называл быдлом и убийцами». Я тут же заявил, что никакого завода «Швинтурис» никогда не было. Под таким названием существовала артель бытовой химии, в которой я работал не инженером, а электромонтером. Суд может это легко установить.

Председательствующая небрежно махнула рукой и объявила перерыв, после которого начались слушания по четвертому пункту обвинения. Прокурор вызывал свидетелей по всем четырнадцати эпизодам из «Обзоров литовской католической церкви», которые обвинение считало вымышленными.

— В третьем эпизоде 22 выпуска «Обзора литовской католической церкви» говорится, — заявил обвинитель, — будто бы рабочий совхоза «Леонполис», из поселка Дайнава, Йозас Прахавичюс, будучи активистом местного прихода, неоднократно получал предупреждения от уполномоченного по делам религии и районного милиционера о том, что должен прекратить посещение костела и контакты с его настоятелем. В противном случае ему грозят «неприятности». Далее «Обзор» сообщает, что в воскресенье, 12 апреля, по дороге в костел на Прахавичюса напали сотрудники милиции в штатском, зверски его избили, молитвенник и другую церковную литературу отобрали. Только под вечер его, всего избитого, нашли рабочие совхоза. Прошу пригласить свидетеля Прахавичюса.

— Свидетель Прахавичюс, вы действительно верующий, регулярно посещаете костел, дружите с местным ксендзом?

— Верующий я. В костел хожу по воскресеньям и по праздникам. Иногда захожу в гости к отцу Альфонсасу.

— Требовал ли уполномоченный по делам религии, чтобы вы прекратили посещать костел? Угрожал ли он вам?

— Не требовал.

— Что вы можете сказать о том, будто вас избили переодетые сотрудники милиции?

— Не били они меня.

— Тогда почему вас нашли избитым на опушке леса?

— Я тогда пьяный домой пришел, жена меня избила и из дома выгнала.

— Свидетель, вы можете быть свободны.

Несчастный человек в потертом пальто и поношенных сапогах, закрывая лицо рукой, удалился из зала. Вошел другой человек в потертом пальто и поношенных сапогах...

Когда свидетели по всем «вымышленным» эпизодам были допрошены, председательствующая объявила пере-

рыв до следующего утра. И тут произошло неожиданное. Прежде чем встать со своего места, она вдруг повернулась в мою сторону и долго и внимательно на меня посмотрела. Взгляд ее меня поразил: чего только в нем не было! Укор — как ты мог! — и тоска — в какую неприятную историю мы с тобой влипли! — и твердость — ты набедокурил, и я тебя накажу! — и жалость — нелегко тебе придется! — и уверенность — получил-то ты по заслугам! Но даже не смешение самых разных чувств в умных карих глазах, а что-то совсем другое поразило меня до глубины души. Но что?

Не успел я об этом подумать, как конвоиры взяли меня под руки, вывели уже знакомым коридором во двор, усадили в «воронок».

Весь вечер я пытался сосредоточиться на своей завтрашней речи. Не получалось, перед глазами то и дело возникали глаза судьи: чем поразил меня ее взгляд? Я думал об этом весь вечер, я думал об этом, ворочаясь ночью на тюремной койке, думал до тех пор, пока меня не осенило: это был взгляд... родного человека!

Моя мама была женщиной милой и доброй, однако она твердо верила в то, что детей нужно воспитывать в строгости, а посему часто меня наказывала. «За эту проделку ты на весь месяц лишаешься походов в кино!» «Раз так, то вместо баскетбола ты всю неделю будешь зубрить немецкую грамматику!» Приговор она всегда выносила непрерываемым тоном, но в ее глазах нетрудно было увидеть и укор, и жалость, и уверенность, что только так она и должна поступить.

Да, но ведь то была мама, а эта женщина — кто я ей? Никто! Чужак, пришелец из другого, враждебного мира. Хуже того — преступник, один из тех, кого она отправляла и будет отправлять за решетку. Почему, почему она так на меня посмотрела?

Я не выспался, перед последним заседанием суда чувствовал себя разбитым, не мог сосредоточиться на речи обвинителя, который начал ее словами:

— Товарищи судьи! Судебное следствие показало, что собранный обвинением материал полностью подтверждает вину обвиняемого.

Я то и дело терял нить, постоянно пытаюсь заглянуть в лицо судьи. Мне это не удавалось, она либо смотрела в сторону обвинителя, либо, опустив голову, что-то записывала в свой блокнот.

— ...Подсудимый в силу своих антисоветских убеждений проводил преступную деятельность, изготовлял и распространял антисоветскую литературу, фабриковал и передавал во вражеские подрывные центры клеветнические материалы... в устной и письменной форме клеветал... Свои действия подсудимый совершал сознательно, с целью подрыва советской власти, то есть совершил преступление, предусмотренное статьей 68 Уголовного Кодекса Литовской ССР.. С учетом вышесказанного обвинение требует назначить обвиняемому меру наказания семь лет заключения в исправительно-трудовом лагере со строгим режимом и три года ссылки.

В зале раздались аплодисменты, председательствующая выждала, пока они стихли, и предоставила слово защите.

Я говорил коротко, избегал патетики, сосредоточиться пытался на фактах. Речь мою постоянно перебивали возмущенные возгласы из зала: «Чего юлишь!», «Выкручиваешься, продажная шкура!», «Расскажи лучше, сколько тебе заплатили американцы?» Председательствующая на выкрики из зала реагировала строго, требуя прекратить шум. Когда же я кончил, повернулась в мою сторону:

— У вас все?

В этот момент я увидел ее лицо. Оно ровным счетом ничего не выражало: лицо, как лицо: белая холеная кожа, острый нос, тонкие губы. Пожалуй, единственное, что было в нем необычного — большое родимое пятно под левым глазом.

Суд удалился на совещание, а я пытался вспомнить, видел ли я когда-нибудь женщин с родимым пятном на лице. Я перебирал в памяти всех, кого встречал на своем пути: Красноголовка, Ленинградский политех, Вильнюс пятидесятых, блокадный Ленинград, Каунас. Подружки детства, сокурсницы, сотрудницы. Тетки, кузины, учительницы, соседки. Соседки? Вдруг из глубины памяти всплыла наша квартира на улице Басанавичюс. Сороковой год, в Литву пришла новая власть, к нам подселили семью какого-то начальника, присланного из Сибири. А вот и большая кухня, а на ней белокурая девочка, с живыми карими глазками, по имени Настася. «Как по-вашему будет пионер?» — «Пионерюс». — «А как будет вот это?» — девочка задирает свой остренький носик и показывает пальчиком на родимое пятно под левым глазом. «Апгамас». Девчушка заливается смехом, машет мне худенькой ручонкой и убегает в свою комнату. До следующего урока.

Хорошо одетая женщина, с ухоженной кожей лица и родимым пятном под левым глазом, первой выходит из совещательной комнаты. Все встают, председатель суда зачитывает приговор:

— Именем Литовской Советской Социалистической Республики...

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Литовской ССР постановила: признать обвиняемого виновным в совершении преступлений по пунктам два и три, предусмотренным статьей 183-1, по пункту четыре, предусмотренного статьей 68, по пункту первому признать невиновным и назначить наказание — семь лет лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима, без ссылки. Приговор окончательный, обжалованию и протестованию в кассационном порядке не подлежит.

Зал затопал ногами, засвистел, зааплодировал: «Подделом ему, мерзавцу.. всех их в лагерь, всех — в лагерь!»

Конвоиры повели меня к выходу.

## Глава восьмая

Текст этой главы, повествующей о жизни нашего героя в Пермском исправительно-трудовом лагере № 35, был изъят у автора при выезде за границу на контрольно-пропускном пункте «Брест».

## Глава девятая

Первый чиновник сказал: «Уважаемые господа! Сегодня мы собрались, чтобы присвоить звание “Узник Сиона” человеку, который прибыл в страну после семи лет лагерей. Кто он? Прежде всего, сын известного сиониста, который переписывался с самим Жаботинским! И учился этот человек не где-нибудь, а в знаменитой гимназии Бялика. Главное же — он всю жизнь боролся за наше святое дело. Боролся и страдал, страдал и боролся. Так кого же, если не его, должны мы — Сохнут<sup>1</sup> и Министерство абсорбции — зачислить в ряды героев и мучеников, назначить ему пособие, помочь с квартирой?»

Второй чиновник сказал: «Дорогие товарищи! Что из того, что этот человек учился в буржуазной гимназии, а его отец переписывался с вождем ревизионистов? Согласно уставу, звание “Узник Сиона” присваивается людям, попавшим в тюрьму за наше святое дело. Но вот свидетельство товарища Иосифа Менделя. Я, пишет товарищ Мендель, сидел в лагере с этим господином. Там он держался замкнуто, с нами, сионистами, не дружил, по утрам гимна Израиля не пел, преподавать иврит отказался под тем предлогом, что почти его не помнит. Так вот, товарищи, нам стало известно, что этот господин сидел вовсе не за наше дело, а за демократию. Нет, не подумайте, я ничего не имею против: если они там хотят демократию — на

<sup>1</sup> Сохнут (*иврит*) — Еврейское агентство, организация, отвечающая за доставку в Израиль новых эмигрантов.

здоровье! Но почему мы в Сохнуте и в Министерстве абсорбции должны присвоить этому господину звание “Узник Сиона”? Призываю голосовать против».

Оперуполномоченный старший лейтенант Овсянников, выдавая бумаги на освобождение, провел со мной подробный инструктаж:

— Приедешь в Вильнюс, сразу иди в милицию Октябрьского района. Там тебе выдадут паспорт, и с пропиской отказа не будет. Пропишешься, тут же дуй в ОВИР и подавай заявление на выезд. Вызов из Израиля они тебе сами выдадут и с разрешением тянуть не станут. Получишь визу, и чтоб через неделю духу твоего не было. Но предупреждаю — не суйся в Москву! Нос там покажешь — вернешься на нары. Понял?

К моему удивлению, домик напротив Кальварийского рынка, в котором я когда-то нашел убежище, стоял на прежнем месте. Покосившийся, вросший в землю, он грустно взирал на сжимающие его со всех сторон бетонные многоэтажки, предчувствуя свой последний час. Жива была и его хозяйка. Высохшая и почти совсем слепая, тетя Сима узнала меня по голосу, позволила переночевать. И сыновья ее отнесли к бывшему «учителю» подружески, наперебой рассказывали о своем житье-бытье, а под вечер пригласили в ресторан, где один из них пел цыганские песни, а другой аккомпанировал ему на гитаре. Остаться в домике они мне разрешили до тех пор, «пока его не снесут и не дадут им настоящую квартиру»!

Как только вопрос с жильем решился, я вздохнул с облегчением, отдал паспорт на прописку и отправился на Центральный почтамт звонить Царевым.

Лера долго не могла понять, кто с ней говорит, а когда поняла, ахнула и попросила перезвонить часа через два. Перезвонил. Оказалось, у нее был урок.

— В университет меня так и не взяли, зарабатываю ча-

стными уроками и малюсенькую пенсию за Витю получаю. Но это не важно, главное для меня сейчас — дочурку дотянуть до диплома. Немного уже осталось, всего год. Способная она девочка и занимается с увлечением, только стипендии не дают — на факультете выученики Бондаренко заправляют, а для них фамилия Царев — что красное для быка. Я тут к восьмидесятилетию Вити хотела издать сборник его трудов, написала ректору, а он мне ответил, что если коллеги будут ходатайствовать, то ректорат возражать не станет. Но ты же понимаешь — коллеги! Даже на собрании по случаю тридцатилетия нашей лаборатории Витю упомянули только один раз, да и то вскользь. Бондаренко же сидел в президиуме с таким видом, будто он, а не Витя лабораторию создал. Ладно, скажи лучше, как ты?

— Я в порядке, скоро, видимо, уеду. Во всяком случае, выбор у меня невелик: либо за границу, либо обратно в лагерь. Так что хочу к вам на пару дней съездить. На могилу к Виктору Георгиевичу схожу, с детьми попрощаюсь. Не возражаете?

— Не сердись на меня, дорогой мой, только, пожалуйста, не приезжай! У меня с сыном беда. Учился он отлично, но в аспирантуру его не взяли и уже ясно, что не возьмут. Так что он на науку махнул рукой, завел дружбу с диссидентами, домой такую литературу приносит, что страшно делается. И все тебя вспоминает: вот, говорит, с кого пример надо брать! Уж я грех на душу возьму, скажу детям, что тебя сразу из лагеря за границу выслали. Пойми меня, нам ведь здесь жить.

Встречать меня Марк не пришел. Не потому что не хотел, — был прикован к постели.

Жизнь его в Израиле сложилась удачно: сразу по приезде получил он место в больнице «Бейлинсон», позже открыл свой кабинет, в который не иссякала очередь желающих показаться «знаменитому московскому кардиологу». Успехам своим Марк, однако, радоваться не хотел, жиз-

нью наслаждаться отказывался. Весь он был погружен в заботы и хлопоты. Одному свежеприбывшему нужно было помочь деньгами, другому — составить протекцию по части работы, за третьего — поручиться в банке. А еще регулярные звонки в Москву, а еще вечная ругань с чиновниками, которые по должности отвечали за обустройство новоприбывших. Эти-то дела Марк считал главными, им отдавал и душу свою, и силы, и время. И вдруг все оборвалось: опухоль обнаружилась в легких.

Прямо из аэропорта меня отвезли в общежитие для одиночек в Яффо и поселили в одной комнате с молодым парнем из Аргентины. И, хотя при общежитии был ульпан, парень этот на занятия не ходил и все время куда-то исчезал. Я же старался занятий не пропускать, но, как только почувствовал, что могу и других понять и себя объяснить, последовал примеру соседа: пустился в разъезды. Первым же делом решил добраться до больницы «Бейлинсон», где Марк раньше пользовал пациентов, а теперь лежал на больничной койке.

Жара стояла невыносимая, я не знал, куда деться от палящего солнца, автобуса дождался с трудом. Конечно же, вышел не на той остановке, пошел туда, пошел сюда, но в конце концов добрался до огромного здания больницы, нашел палату, где лежал Марк.

Бывший политэк, бывший преподаватель иврита, бывший преуспевающий кардиолог был чрезвычайно худ, совершенно сед и выглядел как типичный раковый больной. При этом телефон у его кровати не замолкал, желающие навестить доктора ждали очереди в коридоре.

Расспрашивать меня Марк ни о чем не стал — все о тебе знаю! — разговор повел деловой.

— С твоими болячками работать ты не сможешь, это ясно. На пособие существовать можно, но, сам понимаешь. Так вот, сейчас я тебе кое-что расскажу, чтоб ты понял, как надо действовать. Раньше, когда у власти была Рабочая партия, наши политики перед Москвой на брюхе

ползали, о том, что в Союзе существуют политзаключенные, даже упоминать запрещалось. Теперь мы это поломали, заставили Министерство абсорбции подписать с Сохнутом соглашение: тот, кто боролся за сионизм, был за это репрессирован и потерял здоровье, получает звание «Узник Сиона», небольшое пособие и медицинскую страховку. Это прямо для тебя и заняться этим делом ты должен не откладывая. Кто-то может подтвердить, что ты сидел в лагере?

К такому повороту готов я не был. Думал, поезжу по стране, посмотрю Иерусалим, Хайфу, полюбуюсь на Мертвое море, загляну в университеты, в библиотеки, а тут бегай по жару с высунутым языком, собирай справки и свидетельства! Марк, однако, мои мысли уловил, потребовал... клятвы.

— Поклянись прямо здесь, что не будешь это дело саботировать, доведешь его до конца. Поверь, я знаю, что говорю. Да и что ты теряешь? Если, Бог даст, подлечишься, сможешь работать, тогда откажешься от пособия — большое дело!

Я, конечно же, Марку поклялся, в поисках свидетельств и справок изрядно набегался, но дело до конца довел. Конец этот звучал лаконично: «В статусе “Узника Сиона” отказать!»

Наум сказал: «Подумать только, какие мерзавцы! Между прочим, Миша, у тебя сестра в Сохнуте работает. Узнай, какие там есть ходы-выходы, чтобы решение пересмотреть».

Миша сказал: «Придумал тоже, решение пересмотреть! Ты что не знаешь, какие там гниды сидят? Да им плевать, что за человек перед ними и какие он цорес<sup>1</sup> перетерпел. Им что важно: свой или не свой. Если бы тот, первый, не начал с Жаботинского и гимназии Бялика, все бы обо-

<sup>1</sup> Цорес (*идиш*) — неприятности, несчастья.

шлось, а так маарахники<sup>1</sup> решили, что им очередного ликудника<sup>2</sup> хотят на шею повесить. Наплевать на Сохнут, с ним все равно ничего не выйдет. Послушай, Захарик, ты ведь с “Аמידаром”<sup>3</sup> дела имеешь. Может, поговоришь, чтоб парню какую-никакую квартиру дали?»

Захарик сказал: «Поговорить могу, но, чтоб дали, сомневаюсь, у них ведь очередь — на годы! Это ты, Йорам, с мэром Нетании в нарды играешь. Поговори, может, он что-то для парня найдет».

Йорам сказал: «Найдет! Да он в штаны надевает, как только я об этом заикнусь. На него уже столько “злоупотреблений” навешали, что он даже воду на работу приносит из дома. Лучше ты, Хона, к Лева Элияву<sup>4</sup> подойди, он-то уж точно никого не боится».

Хона сказал: «Элиав-то не боится, да что он может? Он ведь из бывших, от него одно имя осталось!»

Наум сказал: «Так что, какари, никто не беретя помочь парню? Эх вы! Был бы жив Дрот, он бы все устроил».

Карл умер? Как, когда, что случилось? — ответом были понурые головы: убили. Арабы убили. На территориях<sup>5</sup>. Два года тому.

Добиваться разрешения на выезд в Израиль Карл начал одним из первых. Явился в ОВИР, положил на стол заявление. Там поначалу от такой наглости дар речи потеряли, а потом давай стыдить: ты, мол, боевой офицер, всю войну прошел, родину защищал, а теперь ее же предать

<sup>1</sup> Маарахники — члены левосоциалистической партии МААРАХ.

<sup>2</sup> Ликудники — члены правой партии ЛИКУД.

<sup>3</sup> АМИДАР — компания, занятая строительством и распределением государственного жилья.

<sup>4</sup> Лева (Арье) Элиав — видный сионистский деятель российского происхождения.

<sup>5</sup> Так принято называть территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, занятые Израилем в ходе Шестидневной войне 1967 года, на которых позже стали строиться еврейские поселения.

хочешь! Карл им на «предателя» такое устроил, что его тут же в милицию забрали и на пятнадцать суток — «за хулиганство» — посадили. Кто-то, возможно, и испугался бы, притих. Кто-то, но не Карл. Отсидел он свое и давай по начальству ходить: и не просить — требовать. И письма во все инстанции писать. Ему, понятно, отписки: «нет близкого родства», «не видим воссоединения семьи», «вы — офицер запаса» и всякое такое. Он в ответ в Москву повардился ездить. Сначала в центральный ОВИР, потом в Министерство внутренних дел, потом и до Старой площади<sup>1</sup> добрался. Ответы, однако, разнообразием не отличались: «Поезжайте домой, разберемся, сообщим по месту жительства». Тут Дрот собрал таких же отчаянных отказников, поехал с ними в Москву, устроился на Центральном телеграфе и в присутствии иностранных корреспондентов объявил голодовку. На другой день всех голодающих милиция забрала, отвезла на вокзал и в поезд усадила. В Вильнюсе Дрота снова на пятнадцать суток посадили. Однако стало начальству ясно: этот настырный тип — бывший офицер-разведчик — пойдет напролом и других за собой потянет. Короче, помуржили Карла с полгодика и дали визу. И неделю на сборы.

В Израиле Дрот, само собой, на протоптанной дорожке оказался: улыпан, Сохнут, бесконечный ворох бумаг, бесконечные чиновники, каждому из которых объясняй, что у тебя за образование, какая у тебя специальность, какой стаж работы. Но как объяснить чинуше, что мальчишкой ушел ты на фронт, чуть не пять лет воевал, а когда вернулся домой, не захотел с ненавистными властями никаких дел иметь. Оттого дипломов не получил, должностей не занимал, а работал снабженцем в захудалой артели. Нет, не мог это Карл никому объяснить, да и не по душе ему была все эти улыпаны и сохнуты. Ох, как не по душе!

<sup>1</sup> Старая площадь — площадь в Москве, где располагалось здание Центрального Комитета КПСС.

Однажды попал Карл на собрание бывших рижских и вильнюсских активистов-отказников, которым тоже не по нутру была казенная абсорбция. «За что мы там боролись? За льготы и подачки Сохнута? Ну, уж нет! Не просителями мы сюда приехали, а гордыми пионерами Израиля. Не подачек должны мы добиваться, не в офисах штаны протирать, а своим трудом, своими руками способствовать заселению земли Израилевой. На территории надо двигать, ребята, исконные наши земли заселять! Кто не боится арабов, кто не боится тяжелого труда — бросайте все и отправляйтесь вместе с нами!

Карл и арабов не боялся, и труда не боялся, а бросать ему и вовсе было нечего.

Поселение под названием Гива'ат Зеев расположилось недалеко от Иерусалима. Дороги, коммуникации и фундаменты домов строило государство, сами же поселенцы лишь утрясали проекты будущих особняков и... непрерывно заседали. Вскоре Дрот обнаружил, что завет «Бросим все!» большинство поселенцев выполнять не собирается. Люди по-прежнему работали в Израиле, сохраняли там квартиры, а в Гива'ат Зеев приезжали разве что посмотреть, как продвигается строительство. Более же всего возмущало Дрота, что строились «гордые пионеры Израиля» руками... местных арабов. Каждое утро, когда в Иерусалим под охраной армейского джипа отправлялись автобусы с теми, кто уезжал на работу или в школу, в поселении появлялись арабы. Простые крестьяне, они были рады заработать какие-то шекели, замешивая цемент, таская щебенку или выполняя другую незамысловатую работу. Ну, а если среди арабов попадался и вправду мастеровой, ценился он у поселенцев на вес золота: его заманивали, обхаживали, а то и переманивали друг у друга. Арабские женщины убирали, стирали и выполняли другие указания рижских и вильнюсских гранд-дам, которые даже имен своих уборщиц не знали: моя арабка, твоя арабка!

Смотрел на все это Карл, смотрел, наконец, не выдержал: собрал Совет поселения, сказал «неправильным пионерам» все, что о них думает, и хлопнул дверью. В тот же день погрузил Карл в грузовичок незамысловатый багаж и вместе с группой других недовольных отбыл на соседнюю высотку, где «правильные» решили основать новое поселение и назвать его «Хадаша». В честь существовавшей на этом месте в древние времена одноименной деревни, возле которой нашел свою смерть легендарный Иуда Маккавей<sup>1</sup>.

О том, чтобы самому добраться на территории и разыскать могилу Карла, и речи быть не могло. Начал ко всем приставать, не свозит ли меня кто? Приставал, приставал, пока, наконец, не позвонил Наум:

— Мой сын едет в Иерусалим. Дел у него там часа на два, а потом он сможет тебя в Хадашу подбросить, покажет, где Дрот похоронен.

Здоровенный детина лет двадцати пяти в пропахшей потом майке и свисающих с живота штанах лихо рулил своим грузовиком и... говорил без умолку. Про службу в армии, про свою девушку, про свой бизнес. Прервать его удалось с трудом:

— Ты хоть помнишь, где Карл похоронен, могилу его найдешь?

— А что там искать? В самом центре, там ему памятник стоит.

— Памятник?

— А как же! Он ведь у них герой. Там как было? Когда они от Гива'ат Зеева отделились, поставили на соседней высотке палатки, флаг подняли, тут же начали строиться. Но поселение-то незаконное! Им не то чтобы помощь или охрана, стали их оттуда выкуривать. Солдаты днем при-

<sup>1</sup> Иуда Маккавей (165—161 до н.э.) — предводитель восстания древних иудеев против греко-сирийцев.

дут, выгонят, а они ночью назад. Их снова выгонят, а они снова назад. А когда солдаты высотку колючей проволокой оцепили, Карл со своими людьми в Иерусалиме перед резиденцией премьер-министра палатки разбил. Позвал телевидение, корреспондентов из газет пригласил и объявил голодовку. Скандал получился — на всю страну! В конце концов их признали, только Хадашой называться не разрешили — древнее поселение-то совсем в другом месте находилось!

Наконец добрались до Иерусалима, заехали на какой-то завод, взяли какой-то груз, повернули на территории, повиляла между каким-то холмам и оказались перед большими железными воротами, увенчанными колючей проволокой.

— К кому, по какому делу? — немолодой солдат-милуимник<sup>1</sup> смотрел на меня с недоумением.

— Да вот олимчика<sup>2</sup> везу могилу Дрота показать. Они друзьями были.

Документов солдат спрашивать не стал, заглянул в кузов, сказал: «Проезжай!»

Дорога, не петляя, шла вверх, по обе стороны от нее утопали в зелени белокаменные особняки, в воздухе стояла пронзительная тишина, аромат свежести и столь дефицитного в этой стране простора. Неожиданно въехали на площадь. Дитина взял вправо и остановился. Мы вышли:

— Где?

— Да вон же!

На другой стороне, в тени большого ветвистого дерева, стоял неприметный гранитный столб, который трудно было принять за памятник. Я подошел. Непременная шестиконечная звезда, имя усопшего, имя его отца, фамилия, год рождения и год гибели «от руки арабского террориста». Все по-еврейски. А ниже мелкими русскими

<sup>1</sup> Солдат-милуимник — бывший военнотружаший, призываемый на короткий срок раз или два в году.

<sup>2</sup> Оле, олим (*иврит*) — новоприбывший, новоприбывшие.

буквами: «Карл Дрот. Капитан Советской армии, командир разведроты. Прошел с боями от Смоленска до Берлина. Получил семнадцать ранений». И ни слова о наградах.

Я долго стоял над могилой, пытаясь представить жизнь Карла в Израиле. Жизнь представить не получалось: картина, как перерезает ему, сонному, горло тот самый араб, которого он опекал и вопреки правилам оставил ночевать в своем доме, вытесняя все остальное.

До Яффо мы добирались три часа. Измученный жарой, дальней дорогой и тяжкими мыслями о судьбе Карла, я мечтал об одном: быстрее добраться до постели. Долговязый сочувственно на меня посматривал, то и дело хлопал по плечу:

— Ты нос-то не вешай, поначалу оно всегда трудно. Вот когда мы приехали....

На моей кровати сидел крупный лысый мужчина и читал английскую газету. Не успел я войти, как он тут же вскочил, обнажил в улыбке полный ровных зубов рот и заключил меня в объятия. Я терся о его живот, уклонялся от его поцелуев, лихорадочно соображал, кто же это такой и как долго он намерен меня тискать? Наконец, разжав объятия, лысый заговорил, мешая русские слова с английскими:

— Анбиливибл!<sup>1</sup> Прошла ведь целая вечность, целая вечность! Не думал, честное слово, не думал, что когда-нибудь увижу тебя живым.

Я смотрел на него, кивал головой, однако, кто такой этот господин, с мясистым, гладко выбритым лицом, толстыми губами и не сходящей с лица улыбкой, вспомнить не мог. В какой-то момент до него дошло, что я его не узнаю:

— Ты что, не узнаешь меня? Сильно изменился твой друг Павлик, а? Еще бы — годков-то сколько прошло! Да и Павликом меня теперь зовет только моя Бетти, она из

<sup>1</sup> Невероятно (англ.).

наших, из литовских, хотя родилась в Америке. А для всех я Пол Рабин. Рабинович у нас в Америке не звучит; я, когда в колледж поступал, тогда же и поменял «май нейм».

Каким образом старый Рабиновичюс, бывший ешеботник и бывший каунасский богатея, ускользнул из оккупированной Красной армией, Литвы, как добрался до Швеции, как вывез семью в Америку, Павлик едва помнил. А вот что кое-какие «мани» папаша в Америку привез, открыл там магазин, «мани» свои приумножил, а посему сумел послать сыновей учиться в университет, а дочерей удачно выдал замуж, это он помнил хорошо. Вообще, об отце Павлик говорил уважительно, но в одном у него с ним был «дисэгримент»<sup>1</sup>: Павлик хотел стать инженером, отец требовал, чтобы сын изучал финансы. В конце концов Павлик настоял на своем: окончил колледж, потом университет, много лет работал конструктором у «Крайслера», пока не убедился — отец был прав: на зарплату инженера далеко не уедешь. Даже на «Крайслере»! Павлик переехал в Лос-Анджелес, открыл там дилерскую контору, стал торговать теми самыми «крайслерами», которые недавно сам же конструировал.

— Я никогда не сомневался, что и ты, и все наши ребята погибли. А знаешь, как я о тебе узнал? Не поверишь, это все моя Бетти. Когда дети выросли и разъехались, она начала активничать в «джуиш комьюнити»<sup>2</sup>. Мне-то на них наплевать, они только и делают, что деньги с тебя тянут, а Бетти на этом деле просто помешалась. То праздники для бедных устраивает, то посылки рассылает. А потом началась история с рефюзниками<sup>3</sup> в России: митинги, собрания, демонстрации. «Отпустите этого, отпустите того, свободу одному, свободу — другому!» Однажды приходит Бетти домой и показывает мне какую-то бумагу: «Ты знаешь, у нас в списках новое имя появилось, мне кажется,

<sup>1</sup> Несогласие, противоречие (англ.).

<sup>2</sup> Еврейская община (англ.).

<sup>3</sup> Отказниками (англ.).

ты когда-то его упоминал». Смотрю и глазам своим не верю: имя твое, и фамилия твоя, и год рождения совпадает. Побежал в общину, говорю: это же мой друг детства, мы с ним и в скаутский лагерь вместе ездили! Сказать-то сказал, а в душе сомнение: вдруг совпадение? На всякий случай позвонил в Париж Жанне. Она: «Ничего о нем не слышала, вероятнее всего, погиб. Правда, если Лазик выжил, может, и он...»

— Погоди, погоди, какая Жанна?

— Как, разве Лазык тебе ничего о ней не сказал? Вот тебе на! Так ведь и Жанна, и Саввик уцелели. Жанну в Друскениках родители прятали, но ее литовцы выдали гестапо, а немцы отправили в концлагерь Штутгоф. А Саввика с семьей в Паланге взяли. Родителей в Освенцим, а его в Дахау, вместе с другими подростками. По счастью, оба выжили, а потом случайно встретились в Мюнхене в рефьюджи кемп<sup>1</sup>. Они там визы в Америку дожидались. Голодные, больные, измученные. Жанна так вообще была — в чем душа держится. А кругом все чужие, злые, все друг у друга воруют, друг на друга доносят. Американцы же с визой не спешат: коль скоро документов нет, жди годами. И вдруг видит: Саввик, можно сказать, родной человек! Она за него, как за соломинку, ухватилась: все вместе, все пополам. Ну, и ничего от него не скрывала, в том числе и про родительские деньги в Париже рассказала. Саввик, как только про деньги услышал, вцепился в нее мертвой хваткой: «Мы с тобой одни на свете остались. Давай, значит, поженимся, уедем в Париж, начнем жизнь сначала». Уламывал, уламывал и, наконец, уломал: Жанна от Америки отказалась, поехала с ним в Париж, встретила там своих друзей, которые помогли ей и гражданство получить, и деньги отцовские вернуть. Саввик тут же в текстильный гешефт ударился и сильно на этом деле разбогател. Но к Жанне относится по-свински. Вот мы с Бетти душа в душу живем...

<sup>1</sup> Беженский лагерь.

Я слушал Павлика и не слышал. Слова его проплывали мимо, где-то растворялись, и даже потрясающая новость о том, что Жанна выжила, вышла замуж за Саввика и все годы жила в Париже, не могла вывести меня из полубомбочного состояния. Я чувствовал: сознание уходит. Что было дальше, я не помнил.

Поздним утром следующего дня разбудил меня все тот же Павлик. Физиономия у него была испуганная, он сидел на корточках возле постели и все спрашивал:

— Ты о'кей, май деа, отошел немножко?

Я был «в порядке». Встал, умылся, пошел было ставить чайник.

— Какой чайник, старина, выйдем в город, выпьем по чашечке кофе, закусим, поговорим...

Мы спустились вниз, перешли дорогу и оказались в Старом Яффо, по улочкам которого толпами и поодиночке бродили говорящие на всех языках туристы. И, хотя повсюду уже занималась жара, в кафе, под двойной тенью старых деревьев и разукрашенных рекламой навесов, было совсем не жарко. Я выпил апельсинового сока, съел блинчик с вареньем, силы стали возвращаться:

— Скажи: когда Лазик узнал, что Жанна жива? Как он ее нашел?

— Не он ее, она — его. Вообще-то она все годы верила, что Лазика нет в живых. Когда я впервые приехал в Париж, мы даже Кадиш<sup>1</sup> заказали. И по ее родителям, и по Лазику, и по тебе... А выяснилось все много позже, когда Лазька уже жил в Москве, работал в каком-то важном институте. Так получилась, что кто-то из знакомых Жанны был в Москве и там познакомился с Лазиком. Он-то и рассказал Жанне, что встретил в советской столице коллегу, который свободно говорил по-французски. И биография его была необычна: родился до войны в Каунасе, чудом спасся от немцев, жил в России, окончил Московс-

<sup>1</sup> Кадиш — поминальная молитва.

кий университет, а теперь делает карьеру по международному праву. Жанне, понятно, фамилия этого человека ничего не говорила, но, с другой стороны: Лазарь из Каунаса! Да и по возрасту он мог быть ее братом. Взяла она у своего знакомого адрес того института, написала письмо. Написала, ждет ответа, а его нет. Ну, коли так, решила, что случилось совпадение: в конце концов мог быть в Каунасе и другой Лазарь! Прошел год, она уже об этой истории забыла, как вдруг получает письмо из Варшавы. Какая-то женщина пишет, что Лазарь и есть ее, Жаннин, брат, только писать он ей не может и просит ему больше не писать, так как переписка с родственниками за границей испортит ему карьеру. Жанна тем не менее была счастлива: Лазик жив! А что с Советами все нельзя — и письма писать тоже — это старая песня, мы ее знаем. Короче, есть письма, нет писем: главное, брат жив-здоров, живет в Москве, а увидит она его или нет, это как Бог даст.

Бог и дал. Представь себе, проходит несколько лет, — это когда уже люди начали оттуда уезжать, — получает она письмо от самого Лазика. А там прямым текстом: так, мол, и так, мы с тобой родные брат и сестра, родители наши погибли, только мы вдвоем и остались на этом свете, так что хочу с тобой воссоединиться, присылай вызов! Жанна, конечно, с радостью, но тут Саввик встал на дыбы: никакой это не Лазик, это какой-то проходимец, который хочет из нас вытянуть деньги. В общем, устроил ей такую головомойку, что она белому свету не обрадовалась. Написала мне: может быть, ты ему вызов пришлешь из Америки? Мы, конечно, с радостью, но Бетти — золотая голова! — решила, что вызов лучше прислать из Израиля: Советы в Израиль еще кое-как отпускают, а в Америку — ни-ни. Короче, мы ему вызов устроили, а через год он в Париже объявился — тут как тут. Один, правда, без жены.

— Скажи, ты его видел?

— А как же! Как только он в Париж приехал, наша община ему приглашение выслала, и билет, и визу через на-

шего сенатора устроила. Он к нам прибыл как герой. А выступал, как он выступал! Ты знаешь, к нам в Лос-Анджелес разных героев привозили. Так те какие-то сжатые, сгорбленные, бубнят себе что-то под нос и по-английски ни гу-гу. А Лазька как только начал говорить, так все рты пооткрывали. Когда же он стал рассказывать, как вместе с Академиком и другими диссидентами рвался в здание суда, где тебя судили, все встали и устроили ему овацию. Его и мэр наш принимал, и сенаторы, и конгрессмены, а потом его в Вашингтон увезли. Он там и в Госдепе выступал.

— Ты-то сам успел с ним пообщаться?

— Аск!<sup>1</sup> Он у нас дома жил. И все о тебе рассказывал. Как в Ленинград вместе добрались, как на военном заводе работали, как в институт поступили, как он у тебя на защите диссертации был, а ты — у него. И про женитьбу твою рассказал, и как ты диссидентом стал, тоже. Фотографии из Вильнюса показывал: стоит он в компании Академика у здания суда. Только твоей фотографии у него не оказалось:

— Как же судьба его сложилась, сейчас-то где он?

Павлик перестал жевать, метнул на меня взгляд исподлобья:

— Плохо сложилась. Только он об отцовском наследстве упомянул, Саввик ему такое устроил! Из дома выгнал, пригрозил стереть в порошок.

— Но ведь деньги же отцовские, почему бы в суд не подать: Франция все же, не Советский Союз?

— Вот именно — не Советский Союз! Ты знаешь, сколько надо лоерам<sup>2</sup> отстегнуть, прежде чем процесс начать? А кто такой Лазик? Голый и босый эмигрант. А Саввик кто? Король, текстильный король Франции, кавалер Почетного Легиона, с министрами и банкирами на одной ноге, сын президента у него в компаньонах. К тому же дело там запутанное: какое было завещание, как Саввик с Жанной

<sup>1</sup> Спрашиваешь! (англ.).

<sup>2</sup> Адвокатам (англ.).

сумели наследство получить? Никто не знает. Во всяком случае, Саввик меня уверял, что никакого наследства не было, а богатство он своими руками сколотил. Кстати, Саввик сразу после женитьбы фамилию Жанны взял, он ведь тоже теперь Левитас.

— Так чем же все-таки кончилось?

— А чем могло кончиться? Начал Лазик работу искать, но кому нужен советский юрист-международник? В конце концов пристроился где-то в Англии русский язык преподавать. Работа ерундовая, едва концы с концами сводил.

— И что?

— Как только в Москве Горбачев к власти пришел, у нас заговорили, будто скоро все республики независимость получают. И Литва тоже. И, представляешь, Лазик в один день все бросил и отправился в Литву. Добрался до Вильнюса через Швецию, а там давай за независимость воевать. Каждый день то с английскими журналистами встречается, то с французскими, то с американскими. Все им толково о Литве объясняет, всех призывает поддержать независимость. Короче, ценным для них человеком оказался. Однажды нам с Бетти письмо от него пришло. Он все о независимости литовской писал, как добился ее с товарищами. А о себе только одно — «я, наверное, скоро министром стану». А вот стал или не стал, не знаю, исчез он, ни весточки от него. Ну, я и решил, раз ты большим человеком стал, друзей забыл, живи себе на здоровье!

Павлик сник, долго молчал, потом махнул рукой:

— Бог с ним, с Лазькой, расскажи лучше, как ты, какие планы, чем собираешься заняться? Ты ведь здесь герой, тебя, наверное, всюду с распростертыми объятиями встречают.

— Вот именно, герой... — рассказал Павлику историю с присуждением мне звания «Узник Сиона».

Павлик неожиданно оживился, вскочил, замахал руками:

— На черта тебе этот Сохнут, если у тебя есть Павлик! Квартира тебе нужна? Так и скажи. Только Павлику скажи, а не этим афишелс из Сохнута. Договоримся так: ты какую-нибудь квартиру присмотри, а уж дальше мое дело. Только на слишком шикарную не замахивайся, я все-таки не Саввик, но что-нибудь скромное мы тебе купим.

Немного подумав, добавил:

— Конечно, если бы ты приехал к нам, в Лос-Анджелес, было бы проще.

Сказано — сделано. Позвонил Науму: так, мол, и так: приехал друг детства из Америки. Человек он не бедный и готов купить мне квартиру, если найдется что-то скромное, недорогое.

Скромное и недорогое нашлось. Выглядело оно в точности так же, как и первые хрущевки в московских Черемушках. А может быть, и того хуже. Но цена была невелика — двадцать семь тысяч долларов. Позвонил Павлику. Он обещал до отъезда квартиру посмотреть и позвонить. Обещание свое он выполнил — позвонил. Позвонил и долго говорил о том, как был счастлив меня повидать, как мало нас осталось на свете, как крепко должны мы держаться друг за друга:

— Ты квартиру посмотрел? — выдавил я из себя.

— Посмотрел, но поверь, старик, она не то что двадцати семи, она семи тысяч не стоит. В таких квартирах люди не живут. Вот если бы ты приехал к нам, в Лос-Анджелес...

Без своего угла я не остался. Не прошло и года, как мне дали квартиру в доме для престарелых. Правда, престарелым я еще не был, но... Наум позвонил одному человеку, Миша — другому, Захарик стукнул по столу в одной конторе, Йорам — в другой, Хона заручился письмом от Левы Элиава, и ключ от квартиры оказался у меня в кармане.

Дом престарелых, куда я тут же перебрался, находился в Нетании и глядел фасадом прямо на море. Квартира была

крохотная — комнатка да закуток для душа и туалета. Зато там был балкон. Большой, просторный, с видом на море. В наследство от предыдущего жильца достались мне стол, этажерка и тумбочка. Впрочем, всякого добра, вышедшего из употребления, натаскали мне выше головы. Короче, живи и наслаждайся! Я и наслаждался. Особенно балконом. И как было не наслаждаться! Внизу, невдалеке от дома, гудело приморское шоссе, что пересекало страну с севера на юг, а сразу за ним начинались песчаные дюны, которые уходили прямо в море. Рано-ранёшенько я устраивался на балконе, пил свой «кофе» — кипяток и четверть ложечки кофейной пудры, внимательно всматривался в морскую даль, отмечая про себя, какие паруса появились на горизонте, а какие — исчезли, и садился за пишущую машинку. Ближе к двенадцати, когда воздух начинал тяжелеть от жары и пыли, я перемещался в комнату, накрепко закрывал окно, завешивал его плотной шторой, поливал пол водой — испытанный способ побороть жару — и еще пару часов, пока хватало сил, работал.

Раз в неделю, изрядно устав от пишущей машинки, я отправлялся на рынок. Там все было ярко, шумно, суетно: продавцы неистово кричали, рекламируя свой товар, и отчаянно жульничали. Через какое-то время я привык к их истошным крикам, перестал возмущаться тем, что меня откровенно обвешивали и обсчитывали. По всей видимости, вид у меня был такой, что надуть меня восточный человек считал делом чести. Впрочем, обманывали меня и в ближайшем супермаркете. Это был современный магазин, где товары лежали на полках: бери — не хочу! Для кассирш, отнюдь не восточной наружности, обсчитывать меня было делом не чести, а приработка. Откуда им было знать, что в уме я считаю не хуже, чем их кассовые аппараты. Обычно с этими дамами я не спорил, но, если они обсчитывали меня больше, чем на десять шекелей, говорил без возмущения: «Госпожа, ты ошиблась». Кассирша делала вид, будто что-то пересчитывает, с невозможным

видом возвращала деньги и продолжала работать как ни в чем не бывало.

Однажды, вернувшись с рынка, извлек из почтового ящика большой конверт, обратный адрес на котором был тиснен золотыми буквами: «Мадам и месье Левитас». Такие же золотые буквы красовались и на приятно пахнущем листе «фирменной» бумаги.

«Дорогой друг! Извини, что не дала знать о себе раньше, — все рассчитывала приехать, чтоб повидать тебя, но все время не получалось: Саввик вечно занят, да и в Израиль он ездит неохотно. А тут вдруг сам предложил: давай съездим, повидаем, наконец, твоего «ухажера». Я, конечно же, с радостью согласилась. Приезжаем мы 26 марта, а 27 ждем тебя к десяти часам в отеле “Дан”, что в Герцлии».

Отель был шикарным: огромный многоярусный вестибюль, посередине которого, стекая по эстакадам, струилась вода. Всюду красовались вазы с цветами, одетые по форме мальчишки на побегушках вежливо уступали дорогу. Да, это вам не восточный базар, это — Запад! С такой мыслью я подошел к стойке, спросил у портье — солидного мужчины, похожего на британского лорда, в каком номере проживают мадам и месье Левитас из Парижа. Портье внимательно на меня посмотрел, запад на его лице сменился востоком.

— Документ у тебя есть?

Документ у меня был, я протянул его «лорду». Тот с кислой физиономией покрутил его так и сяк, снял телефонную трубку, кому-то что-то сказал, бросил в мою сторону:

— Подожди.

Через минуту он снова взял трубку и обратился более дружелюбно.

— Поднимитесь на шестой этаж, там вам покажут.

У выхода из лифта стоял бритоголовый парень с торчащим проводом от наушника — именно такими показыва-

ют телохранителей в американских боевиках. Телохранитель тоже спросил документ, тоже покрутил его так и сяк, тоже позвонил, сказал «Ждите».

В конце коридора показалась высокая худая женщина в длинной плиссированной юбке и пестрой шелковой блузке с длинными же рукавами. Она шла, сильно сутулясь, и оттого сначала я увидел ее все еще кудрявые, но уже совершенно седые волосы, и только потом — лицо. Жанна протянула мне руки, улыбнулась и посмотрела на меня, как смотрят на старого доброго друга — с нежностью и участием. Но уже через секунду улыбка на ее лице исчезла, огонек в глазах погас. Остались впалые щеки, выпирающие скулы, глубоко запавшие глаза. Глаза-то ее более всего меня и поразили: не грустные и не веселые, не добрые и не злые, они смотрели и не видели, смотрели и ничего не выражали.

Я пожал ее запястья и попытался было их удержать, но она быстро высвободила руки, отступила на шаг:

— Ты по-французски еще помнишь? По-литовски и по-немецки я не разговариваю, а вот по-русски и рада бы, да не могу — совсем забыла.

По-французски я еще помнил, но только было открыл рот, как Жанна меня оборвала:

— Пойдем в номер. Саввик будет нервничать, он немного прихворнул, лежит в постели. Может быть, позже удастся поговорить.

Мы молча направились вдоль коридора, остановились возле двери с табличкой «Президентский суит», Жанна открыла дверь и пропустила меня вперед.

Высокие, украшенные лепкой потолки, шикарная мебель, огромная хрустальная люстра.

— Пройдем сюда, в спальню.

На большой кровати среди множества подушек и одеял лежал маленький человек. Я мгновенно узнал его: все те же тонкие, вытянутые в кривой усмешке губы, все те же пытливо изучающие собеседника глаза, все тот же озабо-

ченный с морщинами лоб. Жанна принесла мне стул, сама устроилась в углу, на диванчике. Я сел возле Саввика, он вяло протянул мне руку:

— Ну что, герой-с-дырой, выглядишь ты, как старая развалина.

— Какой уж есть.

— И стоило там все разрушать, чтобы забраться в эту паршивую дыру? Проклятое место, тут то жарко, то холодно, то холодно, то жарко. Не успел приехать, а уже схватил простуду, холера им в бок!

— Мог не приезжать, никто тебя не тянул.

— Не тянул? А она? Она мне все уши прожужжала — поехали и поехали! Ладно, скажи, как здесь героев устраивают?

— Никак не устраивают, здесь каждый устраивается сам.

— Знаю, знаю. Слышал, как этот трепач из Лос-Анджелеса купил тебе квартиру. Он же пустое место, ничтожество, нашел с кем связываться!

— Павлик ничем мне не обязан.

— Ладно, черт с ним и с его Бетти. Ты мне вот что скажи, зачем нужно было все в России разрушать?

— Там не все разрушили, там гнусную власть разрушили.

— Гнусная власть! А ты другую власть видел? Вы все ученые-моченые, а простых вещей не понимаете. Зачем люди рвутся к власти? Чтобы воровать. Социалисты, голлисты, коммунисты — все на одно лицо, уж поверь мне. Все продаются, все без исключения. Главное — цену правильно определить: кого за сколько можно купить? Вот я умею точно вычислить, кто сколько стоит. Ты думаешь, я так просто свою империю построил? Нет, не просто. И все, все своими руками. Меня, между прочим, никто в войну не спасал, никто в университет не посылал, никто наукой-шмаукой заниматься не поставил. Я университет в концлагере прошел, а когда освободился, пошел к американцам. Им что нужно было: кто с нацистами сотру-

ничал, кто в Союз собирается возвращаться, еще кое-что. Хорошо, я готов. Я готов давать, что вам нужно. Но с американцами так: когда им нужно, ты — о'кей, но когда тебе что-то нужно, они тебя знать не знают. Я плюнул на американцев и пошел к русским. Говорю, давайте сделаем гешефт. А они мне: мы лишь бы с кем дела не делаем, только с друзьями. Я понял. Когда пришли репарации от немцев, все бросились покупать дома и лавчонки. А я? Я пошел к Жоржу Марше<sup>1</sup> и отстегнул ему на «Юманите».

— Ты давал деньги коммунистам!

— А чем коммунисты хуже других? Такие же бандиты, как и все остальные. Зато после этого русские стали продавать мне хлопок. Почему? Да нипочем — семечки! Вообще я тебе скажу, что с коммунистами дела делать в тысячу раз лучше, чем с кем бы то ни было. Поставки — изо дня в день, по качеству — никакого обмана. Я на русском хлопке такой удар сделал — ого-го! Ну, пожертвовал, конечно, немного на избирательную кампанию...

— Это ты называешь «пожертвовал»?

— Да, да, пожертвовал. Ты думаешь, если не пожертвуешь, будет гешефт? Ты так не думай. Здесь, в этой поганой стране, тоже нужно пожертвовать, иначе близко к гешефту не подпустят. Только им нужно жертвовать миллионы: госпиталь построить, здание для университета или что-то в этом роде. Но даже если пожертвуешь, это еще не гарантия. А вот с русскими — другое дело. Если ты друг, все работает как часы. Работало. Пока такие идиоты, как ты, все не разрушили. Теперь в России черт знает что делается, поставки срываются, понятия не имеешь, с кем дело иметь.

— Тебе-то что, ты и без того король, миллионами ворочаешь.

— Король, король! Раньше был король, а теперь на рынке полно молодых голодных волков. Они подметки

<sup>1</sup> Жорж Марше (1920—1997) — генеральный секретарь компартии Франции.

рвут, со всех сторон кусают. Мне без русских в седле не усидеть.

— Победа демократии в России стоит всех твоих гешефтов.

Саввик неожиданно сменил тон, посмотрел на меня примирительно:

— Мы в Париже видели по телевидению, как твой Академик из ссылки вернулся. Ты серьезно думаешь, что он возьмет власть?

— Про власть не знаю, по мне, был бы здоров.

— А скажи, съездить к нему ты не хочешь? Упомянул бы, между прочим, и о своем старом друге, а? Все за мой счет. А если дело выгорит — тебе квартира. Какую захочешь, я не Павлик.

— Квартира у меня есть. И вообще, мне пора. Пока доберусь, будет полдень, а мне лекарства нужно принимать вовремя.

— Иди, иди. Но о моем предложении не забывай. Между прочим, знаю, какая у тебя квартира.

Я поднялся. Жанна встала с дивана, желая меня проводить.

— Эй, ты, — бросил ей Саввик, — не забудь подарок ему дать. Там в комод, в ящике, на второй полке.

Жанна открыла какой-то шкаф, достала небольшой сверток:

— Пойдем, я тебя провожу.

Мы вышли в коридор:

— Скажи, что с Лазиком, где он?

— В Южной Африке.

— Как в Южной Африке? Что он там делает?

— Что? Ты ведь знаешь, он в Литву еще при Советах вернулся, чтоб независимость от Москвы отвоевать. Первое время он в эйфории был, письма писал восторженные. Но, когда независимость пришла, все там друг с другом передрались, такие склоки и дразги начались — ужас! О Лазике газеты стали всякие гадости писать, отца нашего вспомнили, что, мол, предателем он был и агентом НКВД.

Короче, Лазик ужасно скис, письма от него пошли грустные, он даже хотел в Англию вернуться. Потом попросил десять тысяч долларов — «хочу купить место консула где-нибудь подальше, чтобы не видеть и не слышать всего, что здесь происходит». А где мне такие деньги взять? У Саввика я их просить не могу — они с Лазиком сильно не поладили. Все же я кое-какие свои украшения продала и деньги ему переправила. На них он себе место консула Литвы в Иоганнесбурге и купил. Сейчас там сидит, пишет редко.

— Подумать только, ведь и ваш отец был консулом в Париже...

При слове «отец» Жанна вдруг распрямилась, вскинула голову, из глаз ее, совсем как в годы былой юности, брызнули задорные огоньки:

— Папа? Да, папа...

Не успела она произнести этих слов, как спина ее снова согнулась, голова опустилась, глаза поблекли:

— Я пойду, Саввик будет нервничать. Желаю тебе счастья.

Я подождал, пока силуэт высокой сутулой женщины в длинной несуразной юбке исчез в глубине коридора, повернулся, но вдруг вспомнил о подарке и развернул пакетик. В нем лежал тонкий длинный галстук, какие носили в пятидесятые годы и называли «селедка». Подумал: недорого же Саввик меня оценил! Протянул галстук охраннику:

— Хочешь?

Тот покачал головой. Я опустил галстук в урну. Охранник понимающе улыбнулся.

Все лето я работал над воспоминаниями: боролся с текстом, с языком, с жарой, духотой и пылью. Наконец подошла осень, начались Большие праздники. Звонили Наум и Миша, Йорам и Хона: все приглашали в гости. Под предлогом плохого самочувствия все приглашения отклонил и даже на праздничный ужин в нашем доме не пошел. Но не потому, что чувствовал себя хуже обычного: не хотел прерывать работу, боялся выбиться из ритма.

И не напрасно боялся: кончился сезон хамсинов, началась пора дождей. Не таких, как в Литве или России. Вода лилась с неба сплошным потоком, словно прямо из бочки. Бездонной бочки. Потом стало холодать. Казалось бы, еще вчера я изнывал от жары, а вот теперь дрожал от холода. Правда, днем, если поток воды на час-другой прекращался, можно было выйти на улицу; там было теплее, чем в моей каморке. Но вечером и ночью мне не оставалось ничего другого, кроме как завернуться с головой в одеяло и скрежетать зубами. Чуть согревшись, я высовывал голову, надевал очки и включал телевизор. Телевизор — я уже не помнил, кто мне его притащил, — был большим и очень старым. Видимость там была отвратительная, да и из пяти кнопок работали только три. Но мне хватало и трех: по первым двум каналам шли израильские программы, на третьей кнопке «сидела» какая-то станция, которая себя называла «Ближневосточное телевидение». Находилась она на Кипре, вещала по-английски и много места отводила делам религиозным. В частности, этот канал всегда транслировал новогоднюю мессу. Причем каждый раз из другого города: то из Мадрида, то из Рио-де-Жанейро, то из самого Ватикана.

Вот и на этот раз включил, зарылся под одеяло, нацепил очки. Смотрю, показывают какое-то религиозное шествие: толпы людей с крестами, флагами, воздушными шарами идут по узким улицам в сторону соборной площади. Ба, так ведь сегодня Рождество! Интересно, откуда его транслируют на этот раз? Признаюсь, была у меня страстишка угадывать, как называется фильм, который начал смотреть не сначала, как зовут того или иного актера, что за места показывает телекамера. Ужасно гордился, когда угадать удавалось, огорчался, когда попадал впросак.

Так откуда же сегодня транслируют Рождественскую мессу?

Ясно, не из Ватикана. Ясно, не из Латинской Америки — там сейчас лето в самом разгаре, а на экране снежок

порошит, да и люди одеты по-зимнему. Наверняка откуда-то из Северной Европы. Но где там такой город, чтоб на католическое Рождество все улицы были забиты народом? А ну, дай прочту надписи, на каком это языке? Но поди прочти надписи на моем телевизоре! Вдруг слышу слова «Литуэния, Вильнюс». Померещилось, думаю. Нет, снова «Вильнюс, Литуэния». Вскочил с кровати, смотрю, а камера уже скользит по потолку и стенам собора: изображения святых, библейские сюжеты, а вот и боковая дверь, из которой торжественно выходят клирики, чтобы совершить мессу. Впереди, в литургической одежде, то ли архиепископ, то ли прелат, то ли кто-то еще. Камера направляет на него свой прицел: пожилой круглолицый человек с маленькими слезящимися глазами и шрамом на подбородке. Не может быть!

Может. Диктор торжественно объявляет: «Мессу ведет настоятель Вильнюсского кафедрального собора отец Казимирас». Сомнений нет: трансляция идет из Вильнюса, на экране тот самый ксендз, вместе с которым я когда-то ездил в литовскую глубинку, чтобы получить и переправить в Москву «Обзоры литовской католической церкви».

Я впился в экран, стараясь разглядеть старого знакомого. Увы, камера снова устремила свой взгляд на ликующие толпы людей, потом на экране появился корреспондент с микрофоном в руке, который что-то говорил о новом независимом государстве, о первом за долгие годы Рождестве, которое отмечают в возвращенном церкви кафедральном соборе. Я стоял, трясся от холода и от волнения, а когда пришел в себя, вдруг понял: «независимость» — это не абстрактное слово, это и есть Рождество в кафедральном соборе, который в советские годы вел жалкое существование в качестве заштатного музея.

Холод снова загнал меня под одеяло, пытаюсь согреться, я долго ворочался с бока на бок, а когда согрелся, сразу же заснул. Заснул и увидел отца Казимираса. Вот он сидит в моей квартирке в Нетании, достает из потертого порт-

феля банку квашеной капусты, копченую утку и четверть буханки ржаного деревенского хлеба:

— Это вам гостинцы из Литвы. Невелики деликатесы, но уж чем богаты. А устроились вы, я смотрю, хорошо. Комнатка небольшая, зато отдельная. И душ, и туалет при ней. Все же лучше, чем в общежитии в Потье, — отец Казимирас хитро улыбнулся: — Там-то все было общее. И что пишете воспоминания — это правильно: молодые должны знать, как нам далась независимость.

Я хотел было расспросить своего гостя, как он себя чувствует, здоров ли наш общий знакомый отец Станисловас, задать еще много вопросов, но отец Казимирас вдруг засуетился, вскочил, начал собираться:

— Побегу, побегу. Мне еще и того надо навестить, и другого, и подарки раздать, и лекарства. А вам здоровья и долгих лет...

Дожди прекратились, солнышко показывалось все чаще. И я все чаще выползал на балкон, устраивался с чашкой «кофе», чтобы согреться и обозреть морскую даль.

Наступил март. Я продолжал отогревать промерзшие за зиму кости, а моя рукопись тем временем ходила по издательствам. Иногда кто-то звонил: «Старик, не пове-ришь, читал, не отрываясь, три дня и три ночи. Чертовски интересно, но печатать не буду — вещь не коммерческая. Вот если бы ты нашел пять тысяч! Ну, напрягись, чего тебе стоит найти такие деньги: ты ведь у нас герой, тебе никто не откажет». Я вяло обещал «попробовать», твердо зная, что никого ни о чем просить не стану. Больше всего, однако, раздражали меня звонки другого рода: «Прочел, интересно. Но, если хотите, чтобы мы издали, уберите главу о Б... Это же уважаемый человек! Мы наживать врагов не намерены». Или: «Читали. В принципе — да. Но восьмую главу нужно переделать. У вас получается, что они лучше, чем мы? Так не пойдет».

Когда меня просили что-то убрать или переделать, я сердился, бросал трубку, про себя посылал их к черту.

Думы, однако, приходили невеселые. Раньше говорили — рукописи не горят. Но так ли это? И самая ли страшная беда для рукописи — огонь? Книгу в конце концов могут и издать, но понадобится ли она кому-нибудь, станет ли ее кто-то читать? В конце концов я успокоился, издание книги перестало меня волновать: напечатают — хорошо, нет — так тому и быть!

Все больше и больше времени я проводил на балконе, созерцал голубую даль, не отдавая себе отчета в том, что же я стараюсь там увидеть. Наконец до меня дошло: увидеть я хочу папу и маму, бабушку и сестру, Альму и Виктораса, каток в Каунасе, Старый город в Вильнюсе. Но как все это увидеть? Разве что в хамсин, когда видно далеко-далеко за горизонтом...

В один прекрасный день мне это, наконец, удалось. Хотя с вечера гадалки-метеорологи пророчили хамсин, утром мне показалось, что они ошиблись, — особой жары я не почувствовал, устроился, как обычно, на балконе, закрыл глаза и подставил лицо нежаркому еще солнцу. Не помню, сколько времени прошло, но неожиданно увидел себя в Вильнюсе, в Старом городе, хотя по началу с трудом его узнал. Верно, это улица Стиклю, это — Жиду, а это — Гаона. Но почему все здесь так чисто, так красочно, так нарядно, словно на картинках из детской книжки? Почему кругом бары, рестораны и сувенирные лавки? Почему всюду цветы и так много людей с видеокамерами? Ах да, это же туристы! Вот и на углу Жиду и Стиклю они обступили молодую женщину, которая говорит им на плохом немецком языке:

— Во времена советской оккупации здесь был пустырь, но мы все восстановили, причем в точности так, как было в независимой Литве.

— Девушка, да здесь было совсем не так. Здесь никогда не было этой красоты, здесь все было облеплено домами, домишками, пристройками и надстройками с бесконечным числом дверей, окон, входов и проходов. И с беско-

нечным же числом вывесок. Одна на другой, то крупно, то мелко, то вкривь, то вкось, то на идише, то по-польски или по-русски. Здесь никогда не было автомобилей, а лишь повозки, телеги, тачки, Здесь был мир бородачей и лавочников, торговков и йешиботников. Здесь был муравейник, который суетился, галдел, издавал запахи фаршированной рыбы, кислой капусты и жареного картофеля.

Девушка посмотрела на меня, словно на сумасшедшего, сказала: «Пожалуйста, не мешайте» — и повела свою группу в сторону улицы Антокольского.

Странно, что я сказал плохого?

Побрел по улице Гаона в университетский квартал. Там ничего не изменилось — все те же строгие монументы, витиеватые фрески, знаки зодиака, латинские изречения. Все те же имена и эпохи, которые возникали перед глазами самым неожиданным образом и неожиданно же сменялись другими именами и другими эпохами. Все та же ни с чем не сравнимая атмосфера, в которой уют уживался с безграничными просторами, идиллия — с хаосом времен и народов.

Я брел и брел в направлении проспекта Гедиминаса и все время удивлялся: откуда здесь столько красок, столько цветов, столько магазинов, кафе и сувенирных лавочек? Такого здесь никогда не было!

В скверике перед Кафедральным собором решил передохнуть и сел на свободную скамейку. Подошла девушка, спросила:

— Здесь свободно?

Я взглянул на нее и чуть не остолбенел. Это была Альма!

Правильные, строгие черты лица, голубые глаза, бледная кожа, длинные, спускающиеся на плечи волосы. От неожиданности я вскочил и тут с удивлением обнаружил, что Альма... выше меня. Нет, нет, здесь что-то не так: прекрасно помню — я был выше Альмы! И почему юбка на ней сидит где-то на бедрах, почему она такая короткая, почему живот у девушки обнажен и в пупке блестит каму-

шек? Ба, это же безвкусица! Я взглянул Альме в глаза и тут же понял: это вовсе не она, у Альмы были умные глаза!

Девушка смотрела на меня с удивлением.

— Извините, вы очень похожи на одну мою знакомую. Ее звали...

Подошел молодой человек, протянул девушке стаканчик мороженого. Я посмотрел ему в лицо и снова изумился: парень — стройный рыжеволосый с небольшими бакенбардами — был поразительно похож на Виктораса.

Молодой человек с некоторой тревогой посмотрел на меня, спросил у девушки:

— Что этому типу от тебя нужно?

Девушка пожала плечами:

— Кто его знает, не понимаю, что он говорит.

— Послушай, дед, здесь не подают. Иди к Острой Брассе<sup>1</sup>, там собираются такие, как ты. Сядешь и что-нибудь соберешь.

Парень обнял девушку за талию, она сунула руку в задний карман его джинсов. Парочка развернулась и направилась своим путем.

Ишь, нахал! Впрочем, тут я стукнул себя по лбу: говорил-то я с ними на иврите, а надо было по-литовски!

Удар по лбу отозвался в районе сердца. Сначала кольнуло не очень сильно, подумал: сейчас пройдет. Удар повторился, сделалось очень больно. Я открыл глаза: гигантский огненный шар заходил за горизонт, приморское шоссе стихло, волны Средиземного моря шептали какие-то непонятные слова. Боль усиливалась, поднималась к голове, расплзалась по телу. Я хотел закричать, но только раскрыл рот, как удар повторился с новой силой.

Папа сказал...

Мама сказала...

Я их не услышал.

<sup>1</sup> Костел, около которого по традиции собираются нищие.

**Эйтан Финкельштейн**  
**Лабиринт**

Дизайнер *Т. Ларина*  
Редактор *В. Дьяков*  
Корректоры *М. Алхазова, И. Аветисова*  
Верстка *С. Петров*

Налоговая льгота — общероссийский  
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;  
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:  
129626, Москва, И-626, а/я 55  
Тел.: (495) 976-47-88  
факс: 977-08-28  
e-mail: [real@nlo.magazine.ru](mailto:real@nlo.magazine.ru)  
Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 84x108<sup>1/32</sup>/<sub>32</sub>  
Бумага офсетная № 1  
Печ. л. 7,5. Тираж 1000. Заказ № 1880  
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс  
“Ульяновский Дом печати”»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14.

# Эйтан Финкельштейн

---

На страницах новой книги Эйтана Финкельштейна, автора романа «Пастухи фараона» (НЛО, 2006), живут люди, которые верили каждый в свою правду и готовы были жертвовать ради нее всем. Пламенный комсомолец-подпольщик спасает мальчиков из «буржуазных семей», заводские работяги в невероятных условиях куют оружие победы, ученые, скованные партийными цепями, делают важные открытия. Здесь спорят о будущем России, КГБ преследует диссидентов, священники ратуют за свободу веры, националисты – за независимость, сионисты – за возвращение на историческую родину, конформисты пытаются удержаться на плаву... Все это драматически преломляется в трудной судьбе главного героя, хлебнувшего лиха и в блокадном Ленинграде, и в лагере за инакомыслие, и в эмиграции...

ISBN 978-5-86793-593-1



9 785867 935931

